

МИХАИЛ ПРИШВИН

Проза
Русского
Севера



В краю непуганых птиц

Проза Русского Севера

Михаил Пришвин

В краю непуганых птиц (сборник)

«ВЕЧЕ»

1907

Пришвин М. М.

В краю непуганых птиц (сборник) / М. М. Пришвин — «ВЕЧЕ»,
1907 — (Проза Русского Севера)

ISBN 978-5-4484-7834-5

Михаил Михайлович Пришвин (1873–1954) – русский писатель и публицист, по словам современников, соединивший человека и природу простой сердечной мыслью. В своих путешествиях по Русскому Северу Пришвин знакомился с бытом и речью северян, записывал сказы, передавая их в своеобразной форме путевых очерков. О начале своего писательства Пришвин вспоминает так: «Поездка всего на один месяц в Олонецкую губернию, я написал просто виденное – и вышла книга „В краю непуганых птиц“, за которую меня настоящие ученые произвели в этнографы, не представляя даже себе всю глубину моего невежества в этой науке». За эту книгу Пришвин был избран в действительные члены Географического общества, возглавляемого знаменитым путешественником Семеновым-Тян-Шанским. В 1907 году новое путешествие на Север и новая книга «За волшебным коlobком». В дореволюционной критике о ней писали так: «Эта книга – яркое художественное произведение... Что такая книга могла остаться малоизвестной – один из курьезов нашей литературной жизни».

ISBN 978-5-4484-7834-5

© Пришвин М. М., 1907

© ВЕЧЕ, 1907

Содержание

В краю непуганых птиц	6
На угоре	6
Вступление	8
Лес, вода и камень	17
Вопленица	26
Плач вдовы[б]	30
Ловцы	38
Певец былин	47
Полесники	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Михаил Михайлович Пришвин

В краю непуганых птиц

© Пришвин М.М., наследники, 2019

© ООО «Издательство „Вече“», 2019

© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019

В краю непуганых птиц (Очерки Выговского края)

На угоре (Вместо предисловия)

Мох и мох, кочки, озерки, лужицы. В сапогах вода, свистят, как старые насосы, сил нет вытаскивать их из вязкого болота.

– Подожди, Мануйло, устал, не могу. Далеко ли до леса?

– Теперь недалёко, вон лес, смотри через сухую сосну. Видишь? Да вон там черная сосна, громом разбило. Там и лес.

Торчит деревце, небольшое, ниже Мануйлы, и на всей моховине деревья ниже Мануйлы, он кажется огромным.

Остановились усталые. Лайка, тоже заморённая, так и пала на месте, тяжело дышит, высунула язык.

– И так всю жизнь, – говорит Мануйло, – всю жизнь по мхам да лесам. Идешь, идешь, да и свалишься в сырость и спишь. Собака, бедная, подбежит, завоет, думает – помер. А отлежишься и опять зашагаешь. С моховинки в лес, из леса на моховинку, с угора в низину, с низинки на угор. Так вот и живем. Ну, пойдем. Солнце садится...

И опять свистит сапог-насос. Навстречу нам лес посылает мелкие елочки, потом покрупнее, потом высокие сосны обступают со всех сторон. В лесу темнеет, хоть и коротка северная летняя ночь, а все же надо заснуть. Холодно, сыро. Мы раскачиваем сухое дерево, оно валится с треском, другое, третье. Тащим их на угор, укладываем рядом. На середине деревьев зажигаем сухие сучья. Костер разгорается. Черные стволы сосен становятся вокруг нас, чуть перешептываются вершинами, по-своему рады гостям. Мануйло снимает шкурки с убитых белок, кормит их мясом собаку, что-то бормочет ей.

– Да купи ты себе собачку, – говорит он мне, – без собаки нельзя.

– На что мне она, я живу в городе.

– А веселее с собачкой, хлебца ей дашь, поговоришь...

И гладит свою собаку широкой, грубой ладонью, пригибая упругие, острые, чуткие ушки.

– Ну, спи. Спокойно спи. Звирь подойдет, собака услышит, проснемся. Ружье поближе к себе положи. Змей тут нету, место сухое, спи спокойно. Проснешься – увидишь, что середка прогорела, сдвинь деревá и ложись. Спи спокойно, место сухое.

Снится страна непуганых птиц. Полунощное солнце – красное, устало, не блестит, но светит, белые птицы рядами уселись на черных скалах и смотрят в воду. Все замерло в хрустальной прозрачности, только далеко сверкает серебристое крыло... И вдруг сыплются страшные красные искры, пламя, треск...

– Зверь! Мануйло, вставай, медведь, зверь! Скорее, скорее!

– Звирь? Где звирь?

– Трещит...

– Это дерево треснуло в костре. Надо сдвинуть. Да спи же спокойно, звирь нас не тронет. Господь его покорил человеку. Что тебе не спится, место сухое.

И насторожился... Что-то завозилось наверху, на ближайшей сосне, у костра.

– Птица шевелится. Верно, рябок подлетел. Ишь ты, не боится!..

Посмотрел на меня, сказал значительно, почти таинственно:

– В наших лесах много такой птицы, что и вовсе человека не знает.

– Непуганая птица?

– Нетра́щенная, много такой птицы, есть такая...

Мы опять засыпаем. Опять снится страна непуганых птиц. Но кто-то, кажется, городской, хорошо одетый, маленький, спорит с Мануйлой.

– Нет такой птицы.

– Есть, есть, – спокойно твердит Мануйло.

– Да нет же, нет, – беспокоится маленький, – это только в сказках, может быть, и было, только давно. Да и не было вовсе, выдумки, сказки...

– Ну вот, поди ты говори с ним, – жалуется мне огромный Мануйло. – У нас этой птицы нет счету, видимо-невидимо, а он толкует, что нету. Обязательно есть такая птица. В нашем-то лесу да и не быть!

...

– Ну, вставай, вставай, солнце взошло. Ишь угрелся. Вставай! Пока солнце росу не угнало, птица крепко сидит, смирёная...

Я встал. Мы затоптали костер, вскинули ружья и спустились с угора в низину, в лесную чащу, в топь.

Вступление

От Петербурга до Повенца

Прежде чем начать рассказывать о своем путешествии в «край непуганых птиц», мне хочется объяснить, почему мне вздумалось из центра умственной жизни нашей родины отправиться в такие дебри, где люди занимаются охотой, рыбной ловлей, верят в колдунов, в лесовую и водяную нечистую силу, сообщаются пешком по едва заметным тропинкам, освещаются лучиной, – словом, живут почти что первобытной жизнью. Чтобы сделать себя понятным, я начну издалека: я передам одно мое впечатление из Берлина.

Как известно, этот город окружен железной дорогой, по которой живущим в германской столице приходится постоянно ездить и наблюдать из окна уличную жизнь. Помню, меня очень удивили рассеянные всюду между домами и фабриками маленькие домики-беседки. Возле этих домиков на земле, площадью иногда не более пола средней комнаты и окруженной живою изгородью, с лопатами в руках ковырялись люди. Странно было видеть этих земледельцев между высокими каменными стенами домов, среди дыма фабричных труб почти в центре Берлина. Меня заинтересовало, что бы это значило. Помню, один господин тут же в вагоне, снисходительно улыбаясь этим земледельцам, как улыбаются взрослые, глядя на детей, рассказал о них следующее. В столице между домами всегда остаются еще не застроенные, не закованные в асфальт и камень кусочки земли. Почти у каждого берлинского рабочего есть неудержимое стремление арендовать эти кусочки, с тем чтобы потом по воскресеньям, устроив предварительно беседку, возделывать на них картофель. Делается это, конечно, не из выгоды: много ли можно собрать овощей с таких смешных огородов. Это дачи рабочих – «Arbeiterkolonien». Осенью, при поспевании картофеля, рабочие на своих огородах устраивают пир «Kartoffelfest», который оканчивается неизменным в таких случаях «Fackelzug».

Так вот как отводят себе душу эти берлинские дачники. От смысла дачи – средства восстановления сил, отнятых городом, посредством общения с природой, – в этом случае остается почти лишь мечта. Немного лучше и с нашими дачниками из мелкого служащего люда, ютящегося летом на окраинах городов. Теперь читатели меня поймут, почему, имея в своем распоряжении два свободных месяца, я вздумал отвести свою душу так, чтобы уже не оставалось тени сомнений в окружающей меня природе, чтобы сами люди, эти опаснейшие враги природы, ничего не имели общего с городом, почти не знали о нем и не отличались от природы.

Где же найти такой край непуганых птиц? Конечно, на Севере, в Архангельской или Олонецкой губерниях, ближайших от Петербурга местах, не тронутых цивилизацией. Вместо того чтобы употребить свое время на «путешествие» в полном смысле этого слова, то есть передвижение себя по этим обширным пространствам, мне казалось выгоднее поселиться где-нибудь в их характерном уголку и, изучив этот уголок, составить себе более верное суждение о всем крае, чем при настоящем путешествии.

По опыту я знал, что в нашем отечестве теперь уже нет такого края непуганых птиц, где бы не было урядника. Вот почему я запасся от Академии наук и губернатора открытым листом: я ехал для собирания этнографического материала. Записывая сказки, былины, песни и причитания, мне и в самом деле удалось сделать кое-что полезное и вместе с тем за этим прекрасным и глубоко интересным занятием отдохнуть духовно на долгое время. Все, что мне казалось интересным, я фотографировал. Обладая теперь этим материалом, я, по возвращении в Петербург, решил попытаться дать в ряде небольших очерков если не картинку этого края, то дополненное красками его фотографическое изображение.

* * *

Занятые петербуржцы мало интересуются теми местами столицы, которые тесно связаны с памятью преобразователя России. Сколько тысяч людей ежедневно проходят мимо памятников величайшего исторического значения, проходят всю жизнь куда-нибудь на службу, фабрику и т. д., совершенно их не замечая. Да и неловко даже и присматриваться к памятникам, когда все кругом спешит по делу. Для этого нужно быть иностранцем или провинциалом.

Но вот вы выехали за город. Сначала скрылись дома и остался только лес фабричных труб. Потом исчезли и трубы, и дома, и дачи; позади остается только серое пятно. И тут-то начинаются разговоры о делах Петра Великого. Указывают полузасохшее дерево на берегу Невы и говорят, что это «красные сосны». Петр Великий будто бы взбирался на одно из бывших здесь деревьев и смотрел на бой... А вот и Ладожское озеро и начало канала вокруг него. Кто-то сейчас же говорит: Петр Великий наказал этой канавой непокорное озеро... Тут же виднеется на островку белая крепость Шлиссельбург... Вот где, кажется, и вспомнить о делах Петра и вообще подумать над судьбой родины: крепость, построенная новгородцами и названная ими Орешек, перешла потом к шведам и стала называться Нотебург. В 1702 году, после знаменитого сражения, крепость достается снова русским и называется Шлиссельбург, – ключ, которым, по словам Петра, были открыты двери в Европу.

Но все почему-то молчат, когда смотрят на белую крепость: и батюшка, и гимназисты, и барышня, и господин с фотографическим аппаратом.

– Э-х-х-х, Господи!.. – бормочет батюшка.

Словно какие-то болезненные бледные призраки становятся на пути мысли к легким, приятным воспоминаниям о славных делах Петра...

И чем дальше, тем больше и больше указывают различных памятников пребывания Петра Великого в этих местах. Нет никакой возможности здесь передать все эти народные предания, указать на все памятники. Их так много, что не знаешь, с чего начать, как связать. Здесь нужен историк. Необходимо пополнить этот пробел в нашей литературе.

* * *

Солнце погрузилось в Ладожское озеро, но от этого нисколько не стало темнее. Просто не верится, что оно закатилось, скорее подходит сказать: солнце «село». Словно там, за водной гладью горизонта, оно притаилось, прячется, как страусы прячут от охотника голову в песок. Светло по-прежнему, но мало-помалу все становится призрачным.

Призрачным становится этот оранжевый, освещенный притаившимся солнцем дым... Это не дым, это длинная широкая дорога уходит вдаль, в небо. Призрачным кажется след на воде от парохода, почему-то не исчезающий, но все расширяющийся и расширяющийся туда, дальше, к исчезнувшему берегу. Призрачны все эти молчаливые люди, глядящие на водную и небесную дорогу... Это не полковник, батюшка, барышня и гимназист, а таинственные глубокие существа.

Легкая зыбь – «колышень» – рябит воду. Пароходом она не ощущается, но маленькое озерное судно «сойма» слегка покачивается. Немножко колышется и «лайда» – финское судно с картинно натянутыми парусами. Вдали показывается белое пятно. Маяк это, церковь с того берега, который уходит в Ладогу, или парус какого-то большого судна? Пятно куда-то исчезает, но скоро показывается маяк, а на красном небе вырисовывается полногрудый силуэт большого озерного старинного судна: «галиота».

* * *

Я не помню, кто это из путешественников сказал: будьте осторожны, когда садитесь на русский пароход, осмотрите каюты, не каплет ли в них, не случилось ли чего с этим пароходом, например, не отваливалось ли дно и т. д. Все эти меры предосторожности я принял. Мы ехали на новом пароходе «Павел»; он совершал свой первый рейс от Петербурга в Петрозаводск – Повенец и был построен в Англии. Даже самое общество пароходовладельцев основалось на английский манер.

– Помилуйте, – говорил нам один из нескольких членов общества, маленький, кругленький петрозаводский купчик, – помилуйте, в Англии даже одно общество лакеев имеет свой собственный пароход, а мы, русские купцы, для своих товаров не можем завести собственных пароходов.

Я не знаю, бывали ли в России когда-нибудь такие общества. В нем объединялись мелкие и средние торговцы. Достаточно было внести пай, кажется, в двести рублей, чтобы сделаться членом этого общества, но с обязательством возить свои грузы лишь на собственных пароходах. Тут было немножко политики. Время было юное, бодрое, с розовыми надеждами... Раздавались неслыханные раньше голоса в Государственной думе.

– Вы знаете, – торопились новые борцы, – разве теперь время, чтобы сидеть сложа руки... А у нас по берегам Онега такие угодники сидят, что знать никого не хотят. Что ни место, то свой святой... А самолюбие! Такие самолюбивые, скажу вам, что газету из-за самолюбия читать не станут!

Все эти купчики, оживленные новыми перспективами, широкими горизонтами новых времен, сопровождая пароход при первом рейсе, разыгрывали из себя настоящих моряков. Один юркнул в машину и вернется с черным пятном на лбу и платком вытирает масляное пятно на одежде, другой мешает капитану. Но больше всего их собралось на корме у аппарата, отсчитывающего узлы.

– Да не может быть! Шестьдесят узлов! Тридцать верст в час!

Узлы, секунды, курс... так и сыплются морские термины у моряков с брюшками. У одного даже очутился в руках компас...

Все дело в том, чтобы догнать пароход «Свирь», принадлежащий старому обществу. Пароход «Павел» делал на столько-то узлов больше в час, чем «Свирь», и должен был перегнать его на Ладожском озере. Об этом говорили даже публике, когда выдавали билеты. Вот почему и считали узлы, и смотрели вдаль: не покажется ли дым.

И дым показался! Больше. Показалась труба. Узлы, секунды, курс – все было забыто. Еще полчаса, и на Ладожском озере европейцы-купцы готовы были торжествовать победу.

Вдруг в машине что-то заскрипело, затрещало, оттуда на палубу повалил дым. И все засуетились: и публика, и настоящие матросы, и матросы с брюшками. Кто-то направлял накопчик пожарной трубы в машину.

Через час все благополучно кончилось. Пароход снова пошел. Но с мыслью догнать «Свирь» пришлось расстаться навсегда.

– Ничего, ничего, – грустно утешались хозяева, – машина новая, оботрется...

Теперь, когда я пишу, оба парохода этого общества, «Петр» и «Павел», грустно стоят на Неве без котлов, без колес. Оба потерпели аварии: один на Свирских порогах, другой на озере Онега. За все лето они совершили лишь по одному или по два рейса.

– И где им, – торжествовали «самолюбивые» купцы. – Собралась у них всякая мелкота. Да разве можно такие большие пароходы по нашим рекам и озерам пускать. Да и лоцмана были дрянные.

Не знаю, повысило ли теперь старое общество пассажирскую плату. Новое общество сбило было ее почти наполовину.

* * *

Едва справились с бедой, как стало покачивать, и, чем дальше, все сильнее. Сначала поднялась с места задумчивая барышня и подошла к борту. Потом заболела девочка на руках у матери и сказала: «Мама, эта конка бя!» Наконец, полковник-старичок сходил к борту и, вернувшись, словно извинялся: «Тысячу раз клялся не ездить по этому проклятому озеру!» Ему было особенно неловко, потому что он только что рассказывал, как он ходил на медведей с рогатиной. Как бы там ни было, но все обрадовались, когда показалось наконец широкое устье Свири.

Река Свирь – прежде всего место для перевозки леса, муки. Она есть одно из тех устьев Мариинской водной системы, которая соединяет Петербург с Поволжьем. Я это говорю не для того, чтобы сделать очерк о промышленности, но только хочу отметить, что торговая жизнь здесь уж очень кладет свой отпечаток на все. Вот, например, большое торговое село с большими деревянными домами со множеством окон. Это, конечно, хорошо, но почему же возле этих удобных, светлых домов нет садика, деревца, огорода, вообще каких-нибудь признаков заботливости у своего жилища? Лучше всего это станет понятным, если прислушаться к разговору тверской няньки, едущей при господах, и олончанина из Шуныги. Нянька, как и я, недовольна видом этих домов.

– И зачем только едут господа? – говорила она, сильно окая. – Да где же у вас усадьбы, огороды, а где пашня, зачем изгороди косые?

Олончанин говорит тоже окая, но не так сильно, как мне показалось, сравнительно с уроженкой Тверской губернии. Он говорит, что косые изгороди прочнее, а ковыряться в огородах по здешним местам невыгодно, есть другие промыслы. По его словам, лоцмана зарабатывают рублей триста в лето, и тут уж не до капусты.

Но у няньки своя логика, «женская», и потому она прерывает рассудительную речь олончанина:

– А у нас-то везде огороды, усадьбы, поля как скатерти верст на пятнадцать стелются, изгороди прямые. Что это! – презрительно восклицает она, показывая на берег. – Кусты, ямочки, горочки, камни...

Берега в самом деле какие-то невеселые. Хороши они, вероятно, были раньше, когда на них были вековые леса. И теперь лес тут всюду, только и слышишь слово «лес», но с прилагательными: пиленный, строевой, жаровой, дровяной и т. д. Этот лес тащат буксирные пароходы, он загромождает пристани, о нем говорят, около него хлопочут торговые деловые люди. Вся эта жизнь вокруг леса, баржей и т. д. кажется как-то не своей собственной: все это тяготеет к Петербургу. И люди тут немножко американского типа. Вот, например, молодой человек в модном петербургском пальто, вообще вполне культурный человек. Он охотно, как это часто бывает у русских в дороге, рассказывает свою биографию. Родился на берегу Свири. Сын крестьянина-землепашца. Мальчиком раз был сильно болен. Родители, чтобы спасти его жизнь, затеплили свечку перед иконой, упали на колени и молились: «Поправь, святой угодник!» В свою очередь, они тут же обещались угоднику отдать сына на год в Соловецкий монастырь. Угодник помог, и потому, когда мальчик стал восемнадцатилетним юношей, его отправили «годовиком по обещанию» в Соловецкий монастырь. Он пошел с большим религиозным подъемом духа. Но там остыл совершенно. Жизнь в монастыре оказалась почти такой же, как в миру, и даже хуже. «Был всякий грех, табак доходил до пятидесяти копеек за коробочку». Вернувшись домой, ему захотелось «жить». Но какая же это жизнь земледельца на Свири: рубить деревья, косым крюком удалять камни, «орать» первобытной сохой и сеять рожь, жито, репу,

не рассчитывая даже прокормить себя этим год. Юноша пошел в Петербург искать счастья. Брался за все, но кончил портным и теперь возвращался щеголем в родную деревню, чтобы обшивать всех по-питерски.

Мне не хочется описывать здесь Подпорожье, Мятусово, Важины – все эти большие торговые села. Не хочется даже писать о Свирских порогах, потому что они опять-таки имеют отношение только к баржам. На вид же они незначительны и отличаются от всей остальной реки по беспокойству воды, по «вьюнам» и т. п. У Вознесенья, последнего села на Свири, начинается по виду совершенно такой же канал, или канава, вокруг Онежского озера, как и около Ладожского.

* * *

Редко бывает совершенно спокойно бурное Онежское озеро. Но случилось так, что, когда мы ехали, не было ни малейшей зыби. Оно было необыкновенно красиво. Большие пышные облака гляделись в спокойную чистую воду или ложились фиолетовыми тенями на волнистые темно-зеленые берега. Острова словно поднимались над водой и висели в воздухе, как это кажется здесь в очень тихую теплую погоду.

Онежское озеро называется местными жителями просто и красиво «Онего», точно так же, как и Ладожское в старину называлось «Нево». Жаль, что эти прекрасные народные названия стираются казенными. Один молодой историк, здешний уроженец, большой патриот, с которым мне удалось познакомиться в Петрозаводске, очень возмущался этим. Он мне говорил, что администрация таким образом уничтожила массу прекрасных народных названий. И это не пустяки. В особенности это ясно, если познакомиться с местной народной поэзией, с причитаниями, песнями, верованиями. Там, в народной поэзии, постоянно поминается это «страшное Онего страховатое» и иногда даже «Онегушко»... Кто немного ознакомился с народной поэзией, все еще сохраняющейся на берегах этого «славного великого Онего», тому назвать его Онежским озером, ну... назвать, например, пушкинскую Татьяну, как это нехорошо делал Писарев, по отчеству... Онего в народном сознании является уже не озером, а морем. Так его иногда и называют. Онего огромно, как море, страшно в своих скалистых берегах. Скалы его берегов то голые с причудливыми формами, то украшенные зубчатой каймой хвойных лесов. На этих берегах до сих пор живут еще певцы былин, вопленицы, там шумят грандиозные водопады: Кивач, Порпор, Гирвас. Вообще Онего полно поэзии, и только случайно оно не было воспето каким-нибудь поэтом. «Жаль, что Пушкин не побывал на нем», – сказал мне один патриот.

Недостаток художественного описания Онего я почувствовал особенно отчетливо потом, когда ознакомился с «Губернскими ведомостями», «Олонецким сборником» и «Памятной книжкой Олонецкой губернии». Сколько там рассеяно описаний различных местных литераторов, любящих Онего, но как-то с чересчур переполненной душой. Помню, один при описании Кивача, помянув, как водится, державинское «алмазна сыплется гора», восклицает вдохновенно: «И не знаешь, чему дивиться, – божественной ли красоте водопада или не менее божественным словам бывшего олонецкого губернатора, из которых каждое есть алмаз».

Таково Онего. Совсем другое Онежское озеро. Это просто северный «водоем», раскинувшийся на карте в виде громадного речного рака, с большой правой клешней и с маленькой левой. Водоем этот значительно меньше Ладожского озера (Ладожское - 16 922 квадратных версты, Онежское – 8569) и переливается в него рекой Свирью. На севере между клешнями рака заключен громадный, весь изрезанный заливами полуостров Заонежье. На левом его берегу, если смотреть на рака от хвоста к голове, расположился губернский город Олонецкой губернии Петрозаводск, недалеко от правого – Пудож, Вытегра, в самом северном уголку правой клешни – Повенец, где и «всеми миру конец» и куда лежал мой путь.

* * *

Густая толпа народа, которая встречает каждый пароход, представляет из себя живой этнографический музей и уносит воображение в отдаленные времена колонизации этого края. Правда, тут в толпе непременно есть представители современности: урядник, ученики Петро-заводской духовной семинарии, иногда студент, сельская учительница. Но они теряются. Большинство собравшихся, конечно, из ближайших деревень; им просто любопытно посмотреть на проезжающих. И, вероятно, для них это любопытнее, чем для нас лекция, театр, путешествие. Это сказывается и на внешности молодежи. Неуклюжая кофточка, ленточка являются сначала результатом простого созерцания дам на пароходе, а потом, глядишь, появилась портниха и мало-помалу одела всех по-питерски. Но среди модной современности виднеются и приехавшие из глуши совсем серые люди. И что это за экипажи, на которых они приехали! Прежде всего удивляют при летней обстановке сани, обыкновенные дровни. Очевидно, хозяин их приехал из какого-нибудь такого глухого местечка, где совершенно невозможны никакие колесные экипажи. Впрочем, тут же стоят и колесные экипажи, но что это за колеса! Это просто толстые большие отрезки дерева, иногда даже не совсем правильно скругленные... Колес с шинами и спицами совершенно нет: такие колеса скоро бы разбились о каменистую дорогу и потому оказались бы дорогами. Вся масса людей носит серый тон: преобладает какой-то мелкий корявый тип с светлыми глазами, очевидно потомки чуди белоглазой; но между ними попадаются такие молодцы, что вот одеть – и был бы настоящий Садко, богатый гость.

Эти два типа так различны, так бросаются в глаза своим контрастом, что на минуту забывается толпа, и с каменистого берега смотрят на пароход очи истории.

В этих местах существует много курганов и других самых разнообразных памятников когда-то упорной кровопролитной войны новгородских славян и финских племен, «белоглазой чуди», закончившейся в XI веке победой новгородцев. Дальше все шло обычным порядком: знатные новгородские люди здесь приобретали земли, леса, реки и озера и посылали сюда удалых добрых молодцев для управления своими угодьями и промыслами. Все эти земли, занимающие огромную площадь между Ладожским озером, рекой Онегой и Белым морем, составили Обонежскую пятину Великого Новгорода... Вся эта дикая лесная Обонежская страна в то время была бесконечно богата пушными товарами.

Тогда коренные жители были настоящими дикарями, жили в подземных норах и пещерах, питались рыбой и птицей и верили, согласно свидетельству историков, так: «Кто им когда чрево насытит, тогда и Бога сопостовляще, а еще иногда камнем зверя убьет – камень почитали, а еще палицею поразят ловимое – палицу боготворят». Христианство начал здесь распространять князь Святополк еще в 1227 году, вместе с тем и новгородские промышленники во время поездок. Но особенно много потрудились здесь те бескорыстные пустынноики, которых с величайшим благоговением, как святых, чтит все Обонежье. Это Корнилий Палеостровский, Александр Свирский, Герман, Зосима и Савватий Соловецкие и многие другие.

* * *

Я упоминаю здесь именно этих святых, потому что основанные ими монастыри (Александро-Свирский, Палеостровский, на острове того же названия, и Соловецкий) привлекают к себе до сих пор огромные массы богомольцев. И все, что нам известно об этих первых христианах, говорит о них как о людях удивительно чистых и хороших, сделавших массу добра для края. Жизнь их вдохновляла потом и следующих за ними колонизаторов края – раскольников. Многие из этих людей приближались вполне к жизни первых христиан. Да и до сих пор

в глухих местах Архангельской губернии есть старцы, идеалом жизни которых служат жития этих святых.

Так мало-помалу, частью силой, частью подвигами этих старцев, финские племена приняли крещение и сжились с славянскими. Во время шведских походов карелы переходили то на шведскую, то на русскую сторону. А теперь финские племена, особенно карелы, так сжились с русскими, что отличить их можно только по отдельным ярким представителям.

На Онежском озере есть несколько старинных монастырей. Тут лежит путь богомольцев в Соловецкий монастырь. На берегах его до сих пор совершается борьба официального православия с его сгущенной формой – расколом. Наконец, здесь между религиозно настроенной толпой и монастырем можно постоянно видеть посредников. Все это кладет какой-то своеобразный паломнический отпечаток на плавание по Онежскому озеру. Тени святых обонежских пустынножителей словно живут и блуждают по этому озеру. Блуждают, потому что дело их сделано, язычников финнов нет уже в каменных пещерах. Другие язычники появились теперь на Онежском озере, несравненно более упорные и сильные, чем те, вооруженные палицами и пращами, финские племена. Старцам их следовало бы оставить совершенно, как это сделали старцы в других местах: труд бесполезный! Но по странному упорству они продолжают беспокоить всех проезжающих, даже самых закоренелых язычников.

Почему, например, капитан, который на Ладожском озере все время ел семгу, икру и кровавые бифштексы, теперь ведет в рубке религиозно-философский спор с почтенным господином? Он доказывает, глядя с верхней палубы на богомольцев, что все это пустяки и глупость, и отказывается понимать, как человек с высшим образованием может серьезно интересоваться такой чепухой. Почему так пришлось, что полковник именно на Онежском озере рассказывает, будто раз его собаки в лесу загнали на высокую сосну монаха и что при этом у монаха из кармана выскочили две бутылки водки? Почему господин с фотографическим аппаратом снимает теперь кривого монаха, который, опираясь о борт, улыбаясь и играя по-своему единственным глазом, что-то шепчет богомолке? Почему, наконец, и я, совершенно не имея этого в виду, попал в глухой Климентский монастырь, куда и пароход-то ходит всего один раз в год, да и то с благотворительной целью? Случилось это так. Раз в год те самые «самолюбивые» пароходовладельцы, о которых мне пришлось уже говорить, как люди русские и благочестивые, уступают на один день губернатору пароход в бесплатное пользование для организуемой им поездки в монастырь на Климентский остров. Этот остров, самый большой на Онежском озере, находится у конца полуострова Заонежья. На этом каменистом и бесплодном месте был основан монастырь еще в 1490 году Ионой Климентским, сыном богатого новгородского посадника. Случилось, что буря разбила все его суда около каменистого острова, сам он едва спасся от смерти. После этого Иона Климентский (в миру Иван Клементьев) порвал связь с миром, стал жить на этом острове и основал монастырь. В настоящее время этот монастырь, оставаясь в стороне от пароходного сообщения, пришел в упадок. Чтобы хоть сколько-нибудь помочь монахам, и организовывались эти ежегодные поездки.

От Петрозаводска туда всего несколько часов езды. Мы выехали из Петрозаводской губы, миновав замыкающий ее Шуй-наволок и необитаемые Ивановские острова, пересекли почти половину «Большого Онега», то есть его широкой, лишенной островов части, и были у Климентского острова. Монахи в светлых ризах, с крестами и иконами; окруженные пришедшей с другой части острова толпой народа, встречали нас у самого берега. Потом, версту или две, мы шли по лесу, по каменистой лесной тропе, ежеминутно спотыкаясь. Несложная, угрюмая картина открылась нам, когда мы вышли из леса. Покосившийся крест в воде на том месте, где разбились суда, масса камней, каменная церковь, деревянная, две-три постройки и на фоне хвойный лес. Церкви по виду самые обыкновенные: деревянная выстроена недавно, каменная сохранилась с основания монастыря. Внутри каменной церкви стенная живопись изображает

между прочим чертей в аду; сам Иона, сложив руки, молится под водой... После службы нам показывали в лесу жалкие поля, скот...

Что же делали здесь все эти люди столько столетий? Молились, трудились? Но где хоть малейшие следы этой вековой работы и молитвы? И эти вялые ответы, неодушевленные лица... Вся церемония походила на именины в провинции, когда хозяевам в этот год не удалось куда-нибудь уехать и пришлось их праздновать. Наконец нас повели в трапезную закусить; здесь мы ели «рыбники», то есть пироги с рыбой, любимое кушанье олончан, и кое-как поддерживали разговор. Нужно знать, что в это время в Петрозаводске носился уже слухок, что в монастыре что-то неладно, что его пора бы закрыть и преобразовать в женский, как это делается всегда, когда хотят спасти разоряющийся мужской монастырь... Женщины всегда оказываются в этих случаях настойчивее и упорнее мужчин.

Один батюшка, приехавший вместе с нами из Петрозаводска, время от времени за трапезой делал ехидные замечания и развлекал нас. Когда, например, настоятель нам сообщил, что у них тридцать шесть коров и двадцать монахов, то батюшка заметил вскользь:

– На шестнадцать больше...

– Чего? – тревожно спросил настоятель.

– А коров, отец настоятель, – сказал батюшка, сильно выделяя «о», – коров, говорю, на шестнадцать больше.

Настоятель закусил губу и только сердито поглядел на врага. Но батюшка не унимался.

– Говорят, вы коровушек-то продаете, почему?

Это уже был явный, грубый намек на ликвидацию монастыря. Настоятель сейчас же оборвал:

– Если вам угодно ознакомиться с нашими делами, то я с удовольствием...

Батюшка даже выронил рыбник из рук от огорчения и тысячу раз извинился. Но когда недоразумение было устранено, он поинтересовался судьбой монастырских актов. Настоятелю решительно не везло. Только что он обстоятельно изложил, как сгорели акты при пожаре, кто-то из публики сказал:

– Акты, отец настоятель, целы, они у Ивана Ивановича в Петрозаводске, целы и невредимы.

В это время богомольцы, успокоив свою грешную душу молитвой и, конечно, ничего не подозревая о таких тонких политических разговорах у отца настоятеля, сидели кучкой на камнях возле парохода у красивой бухточки с часовенкой и дожидались отхода парохода. Скоро и мы присоединились к ним и уехали в Петрозаводск.

На возвратном пути, через два месяца, мне сказали, что Климентский монастырь уже преобразовался в женский... Некоторые говорили, что будто бы монахи были ничего себе, а это дело рук хитрого игумена другого монастыря, которому хотелось сделаться вместе с тем и настоятелем женского Климентского монастыря. Другие же, напротив, утверждали, что игумен тут ни при чем, а виноваты сами монахи. Но я не буду разбирать этот сложный вопрос и беспокоить тени преподобных Корнилия, Зосимы и других святых старцев...

* * *

В Обонежском краю по пути мне удалось ознакомиться с двумя городами – Петрозаводском и Повенцом. Как их характеризовать? Отметить памятники старины, торговлю, промышленность? Все это есть в них понемножку, но не характерно. Помню, когда я гулял в Петрозаводске в ожидании парохода, мне почему-то казалось, что чистенький городок не живет, а тихо дремлет. Я не хочу этим словом обидеть городок; он дремлет не так, как наши провинциальные города центра, а как-то по-своему. В нем всегда тихо, и было бы нехорошо, если бы на берегу такого красивого озера, между холмами, что-нибудь сгущенное, человеческое шумело

и коптило. Городок дремлет в тишине, и только время от времени что-то тяжело звякнет, стукнет или загудит снизу из котловинки в середине города. И вот этот-то звук чего-то упавшего железного в котловинке, очевидно на Александровском пушечно-снарядном заводе, и объясняет теперь при воспоминании весь смысл городка. И в самом деле, вся история этого городка сложилась как-то возле неудачных попыток устроить здесь завод. Почин в этом деле принадлежал Петру Великому; раньше жил здесь лишь одинокий, выселившийся из соседней деревни мельник. Завод этот как-то плохо работал, закрылся, затем действовал некоторое время медноплавильный, потом завод, открытый французской компанией, наконец, и Александровский пушечно-снарядный завод, основанный Екатериной II. Последний существует и до сих пор: громадное красное здание в середине города в котловине. Говорят, что дела завода очень плохи, и только нерешительностью правительства прекратить невыгодное дело объясняется его еще до сих пор теплющаяся жизнь. Так что завод этот; вполне невинный и нисколько не нарушает картины общего безмятежного спокойствия.

Памятники старины относятся, конечно, к пребыванию здесь Петра Великого. Тут есть деревянный собор Петра и Павла, устроенный так, чтобы с внешней его стороны можно было взбираться наверх. Говорят, что Петр Великий любил подниматься на этот собор и любоваться озером Онего.

Есть здесь также прекрасный парк, где Петр собственноручно сажал деревья и где был выстроен для него дворец. Есть тут монументы Петру Великому и Александру II, есть дом Державина и, конечно, как в губернском городе, много больших казенных зданий. Другой город, Повенец, уже относится к краю леса, воды и камня.

Лес, вода и камень

Про Повенец говорят обыкновенно: он всему миру конец. Но, как я уже говорил, для меня с Повенца только и начинался самый любопытный мир.

И опять я задаю себе тот же вопрос: как характеризовать маленький городок в северном углу Онежского озера – Повенец? Я помню постоянный звук колокольчиков: это бродили коровы по улицам городка. Звук этих колокольчиков мне объясняет все. Повенчан, так же как и петрозаводцев, я не хочу этим обидеть; не их вина в том, что старинное, существовавшее еще в XVI веке, селение Повенцы потом было названо городом Повенцом. Если же считать его селением, то в присутствии коров на улицах нет ничего удивительного. И в самом деле, коренные жители этого «города» занимаются до сих пор земледелием; тут же за деревянными домиками и начинаются их поля. Другая, «лучшая» часть населения, в лучших домах – чиновники. Вот и все, что я могу сказать о Повенце.

Дальше: широкая дорога между непрерывными стенами угрюмого северного леса. То и дело вздрагивает повозка, наскакывая на разбросанные повсюду камни-валуны, или шипит по желтоватому крупнозернистому песку с мелкими гальками. А из леса сверкает чистая вода лесных озер, «белых ламбин»¹. Время от времени шум экипажа пугает купающихся в разогретом песке тетерок с цыплятами. Но мать не оставляет детей, а торопливо уводит их в лес, постоянно оглядываясь назад.

Повозка мчится все выше и выше, то спускаясь, то поднимаясь между террасами, холмами и скатами. Тихо ехать нельзя: бармачи (овода) замучат лошадей. Их целые полчища танцуют возле нас, и кажется – движение вперед им не стоит усилий.

В тринадцати верстах от Повенца, в деревне Волозеро переменили лошадей и снова понеслись вверх. Проехав еще верст пятнадцать, мы пересекли в косом направлении Масельгский хребет – высшую точку подъема. Этот хребет есть водораздел Балтийского и Беломорского бассейнов.

С этого места, если бы только можно было видеть так далеко, открылась бы грандиозная каменная терраса со ступенями назад, к Балтийскому морю, и вперед, к Белому. Величественные озера выполняют ступени этой гигантской двойной лестницы и переливаются одно в другое шумящими реками и водопадами. Назад узкая лента Долгих озер переливается Повенчанкой в Онежское озеро. Многоводное Онего по Свири стекает в круглую Ладожскую котловину, по-старинному озеру Нево, а оно по коротенькой Неве спускается к Балтийскому морю. Впереди тоже ряд озер: Маткозеро, Телекинское, Выгозеро со множеством островов; последнее тремя живописными водопадами переливается в стремительный Выг и стекает к Белому морю. У подножья первого склона террасы – Петербург, а у другого – Ледовитый океан, полярная пустыня.

Так рисуется воображению географическая картина этих мест. Но и простым глазом видно то же самое, только на меньшем пространстве. В дымчатой синеве океана лесов тут сверкают террасы озер, рассеянных всюду между причудливо смыкающимися склонами.

– Лесом, водой и камнем мы богаты, – говорит ямщик.

И замирают слова человека. Безмолвие! Лес, вода и камень...

Творец будто только что произнес здесь: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша!»

И вода стала стекать к морям, а из-под нее – выступать камни.

В этих местах создавалась такая карельская легенда:

¹ Белыми ламбинами называются озера со светлой водой, черными ламбинами – с темной, от темного болотистого дна. (Здесь и далее примеч. М.М. Пришвина.)

«Вначале в мире ничего не было. Вода вечно волновалась и шумела. Этот шум несся к небу и беспокоил Бога. Наконец, разгневанный, он крикнул на волны, и они окаменели, превратились в горы, а отдельные брызги – в камни, рассеянные повсюду. Места между окаменелыми волнами наполнились водой, и так образовались моря, озера и реки».

В этом случае, как часто бывает, художественное творчество предупредило медленные поиски науки. Теперь и наука утверждает, что вначале здесь была только вода. Ледовитый океан в этом месте соединялся с Балтийским морем. Немногие такие мели, как вершина Масельгского хребта, выглядывали с поверхности ледникового моря. Громадные льдины Скандинавского ледника плавали по океану, задерживаясь только на этих мелях. Тут, на мелях, они таяли и оставляли всю массу камней, которую увлекли с собою, спускаясь с гор. Работой подземных сил из воды выдвигались все новые и новые мели, а льдины оставляли на них холмы ледникового наноса. Вот так и образовались здесь всюду раскинутые, вытянутые с ССЗ на ЮЮВ грядки кряжей: сельги. Низменные же места между сельгами остались наполненными водой. На каменных сельгах выросли хвойные леса, а в лесах люди «живяху, яко же и всякий зверь».

* * *

Название «Выговский край» не существует в географии. Он входит в общее название «Поморья». Но он своеобразен во всех отношениях и достоин отдельного названия. Он занимает всю ту местность, которая прилегает к берегам Выгозера, впадающего в него с юго-запада Верхнего (южного) Выга и вытекающего из северного конца озера Нижнего (северного) Выга.

Мне казалось удобнее ознакомиться с этим краем, если поселиться где-нибудь в деревне в центре его и отсюда уже ездить на лодке на юг или на север. Как раз посередине длины Выгозера, на одном из его бесчисленных островов, есть деревенька Карельский остров. Вот ее-то я и избрал своим пристанищем. Этот план был одобрен и дедом рыбаком, у которого я ночевал перед поездкой по Выгозеру.

– Жёнки едут на Карельский, они тебя и отвезут, – сказал мне старик.

– Вот наши жёнки, люби тебе? – рекомендовал он мне двух женщин с загорелыми, обветренными лицами, в сапогах, высоко подтянутых юбках и с веслами в руках.

Потом дед повернул свою седую большую голову по ветру и сказал «жёнкам»:

– На озере вам хорошая поветерь будет, шалонник дует.

Слово «шалонник» означает SW ветер. Другие ветры, как я потом узнал, назывались: летний (S), сток (W), побережник (NW), обедник (SW), полуночник (WN), торок (вихрь) и жаровой, то есть – случайный летний ветер.

– Хороший, походный ветерок, – продолжал дед, – парус не забудьте.

– А мы не взяли, дедушка, – отвечали жёнки.

– Так дать, что ль?

– А бе есть, так и дай.

Дедушка одолжил нам парус, сшитый из мешков, и мы пошли к берегу. Там была вытасченная наполовину из воды простая небольшая лодка. На этой лодке и приходилось плыть по громадному, в семьдесят верст длины и до двадцати верст ширины, бурному Выгозеру. Ко всему этому я узнал, что лодка «без единого гвоздя сделана» и «сшита» вересковыми прутьями. Так оказывалось прочнее, проще и дешевле. Так, кажется, по преданию, строился и Ноев ковчег.

Немного жутко было ехать в такой лодке, да еще с жёнками. Но это только с самого начала; потом же, как я убедился, жёнки, которые выросли на воде и начали плавать по озеру грудными младенцами, ничем не уступали мужчинам. Мужья сохранили только за собой право всегда сидеть на руле. Сначала кажется несправедливым, когда видишь, как жёнка гребет, а

муж сидит на корме, чуть придерживая рулевое весло, а иногда еще при этом выпивая и закусывая рыбником. Но когда я присмотрелся, какое огромное напряжение сил требуется от рулевого в бурю и даже вообще при ветре на лодке с парусом, то понял, что тут ничего особенно несправедливого нет. Оно, может быть, и есть, но уж это везде и во всем пока так водится.

Итак, мы ехали по Выгозеру с жёнками, на лодке без гвоздей, на Карельский остров. Вперед уходила на север бесконечная водная ширь, «большое озеро», свободное, без островов, а направо виднелся лес.

– Это острова?

– Нет, это сузёмок. Вон острова!

– А это?

– Это тоже острова. У нас их так много, что и не толкуем. Всего на озере их – сколько дней в году и еще три. Дальше еще кучнее пойдут. Острова да салмы, острова да салмы.

«Салмы» – значит проливы, слово карельское, как и все географические названия, сохранившие память о старых хозяевах этого озера.

– На веках тут у нас обязательно кареляк жил, – поясняют мне жёнки.

Дед, который сулил нам поветерь, не ошибся. Как только мы выбрались из лабиринта салм, подул сильный попутный ветер. Жёнки, довольные, стали устанавливать мачту, продевая конец ее через отверстие в лавочке и укрепляя в прибитой на дне лодки железной подкове.

– Как поветерь, – заговорили они оживленно, – тут уж поездка любая, тут сиди по́ла да по́свистывай. Не здымай высоко! Сёрвется! Поставь райно² повыше! Погорáже отпусти, не порáто натягивай, а то лодку опружит.

Жёнки наконец установили парус; одна обмотала снасть вокруг сапога, уперлась им в уступ на дне лодки, а обеими руками стала держать рулевое весло.

Лодка понеслась как стрела. Закипели белые волны. Надвигалась туча.

– Ветер чернеет! Темень стават, Божия милость, – крестятся гребцы. – Наше озеро свирипо; как повиют ветры большие да забегают беляки, падет погодушка необъятная! Хоть вопи, а ехать надо. Забежит девятка³, как хором великая, и словно в могилушку опустит. Между девятками, как между хоромами, не видать лодки. Раз нас со старухой на остров выкинуло, так дня два зубами шелкали.

– Гляди, гляди, молвия маше! – восклицала другая жёнка. – Эк грянуло!

Туча прошла, и ветер стал стихать.

– Боком прошла Божия милость. Ветер лосеет! Заехали в салму, и стало вовсе тихо. Парус заколыхался. Над озером повисла радуга.

– Краса идет! Радуга! Надо парус рóнить.

Стали присматриваться, куда падает конец радуги. Если на сузёмок, то дождя не будет, если на воду, то снова темень зайдет.

– Да теперь недалеко осталось. Вот салмочку проедем, обогнем коргу, там будет бёрежная сельга, потом комлевая, медвежий бор и Карельский остров.

* * *

Большие бури на Выгозере бывают осенью, а летом оно часто совершенно спокойно и сверкает на солнце, как громадное зеркало. Налетит торочек – случайный ветерок (вихрь), и заблестит водная гладь миллионами искр. Но летом ветер быстро пролетает куда-то и исчезает бесследно; этот жаровой ветер не имеет никакого значения при поездке, и через пять – десять минут озеро остается таким же спокойным, как и раньше. Иногда солнце так греет, что стано-

² Райно – рея.

³ Девяткой на Выгозере называется всякая большая волна, но, конечно, не всегда «девятый вал».

вится и очень тепло. Но все как-то не доверяешь этому теплу. Словно за теплом и светом где-то притаился холодок и шепчет: «Это не лето, это только межень. Пройдет эта теплая пора, и здесь, на этом месте, будет лед и темная беспрерывная ночь».

На озере всюду разбросаны большие и маленькие острова. Большие не так интересны: их не охватываешь глазом, и они кажутся берегом. Но маленькие своеобразно красивы. Особенно хороши они в летнюю, совершенно тихую погоду. Из водной глади тогда всюду вырастают кучки угрюмых елей. Они тесно жмутся друг к другу и будто что-то скрывают между собою. Напоминают они немного бёклиновский «Остров смерти». Как известно, на знаменитой картине бросается в глаза сначала группа кипарисов, скрывающая загадку смерти, потустороннюю жизнь. Присмотревшись к картине, замечаешь, что между кипарисами продвигается лодка и кто-то в белом везет гроб, осыпанный розами...

Вот и тут так же что-то выдвигается белое. Что это? Семья лебедей. И вдруг над северным островом смерти раздаётся дикий хохот: га, га, га!.. Это летит гагара, падает на воду и исчезает.

Между островами, особенно у низких травянистых берегов, непременно плавают утки всяких пород: алейки, овсянки, крѣх и другие; они смиренные, непуганые, и «в уме не дѣржат», что человек их может обеспокоить.

Не всегда можно добраться до острова на лодке. Он окружен подводными камнями – лудами. А с двух сторон, обыкновенно с ССЗ и с ЮЮВ, от него спускаются в озеро каменные стрелки – корги. От этого кажется, что остров лежит на выдающемся из воды каменном пьедестале. Камни, окружающие остров, объясняют, что он не что иное, как размытая сельга. В середине его, на неразмытой части, где сохранились песок и галька, селились деревья, охватывая камни корнями, а размытые части образовали корги, то есть каменные косы, и луды – подводные камни. Иногда вода совершенно размывала остров, и деревья не могли поселиться на голых камнях, – это мели, сухие луды. На лудах нерестится рыба, на сухих лудах любят собираться большими стадами чайки.

* * *

Все эти птицы – утки всех пород и лебеди – почти не боятся человека. Их не стреляют. «Зачем, скажут, их бить, когда для пищи определена „дичь“, то есть лесная птица: рябчики, тетерева, мошники (глухари)». «Лебедь и утка, скажут, нам никакого вреда не приносят, самая безобидная птица». Про хорошего человека здесь говорят: «Степенный человек, самостоятельный, Бога почитает и не то что лебедей, но и уток не трогает».

Вот почему лебеди не боятся человека, подплывают с детьми к деревням. А утки так непременно селятся в болотах, ближайших к селениям. Когда мне про это рассказывал один старичок, то прибавил: «Стало быть, и ей (утке) это нужно, понимает она».

Как-то раз мы плыли с этим старичком на лодке в узкой салме. Семья лебедей плыла впереди, стараясь уплыть от нас и не желая улетать и оставлять маленьких детей. Старику показалось, что я хочу их стрелять; он в страхе схватил меня за руку и сказал:

– Что ты, что ты, господь с тобой, это нельзя!

И рассказал мне по этому поводу такую историю:

– Молод я был, глуп. Пришла мне раз в голову такая дурь – убить лебедя. Ходил я полевать, день проходил – хоть бы что. Настала ночь. И такая-то светлая, хоть баба шей! Озеро стоит тихое-тихое. Смотрю, посередине у камня быстерок (струйка) играет. Думаю – это не рыба быструет. Пригляделся и вижу: на камне среди озера выдра сидит, хвост свесила, оттого и вода колышется. Стал прилаживаться. Фырсь! носом и в воду. И взяла досада. Вижу, плывет пара лебедей. Сошлись близко головками. Я прицелился. Не успел сливить⁴ – разошлись. А

⁴ Ливить – спустить курок, потянуть за ливку (собачку).

по одной стрелять я не посмел. Отошел саженей пять, смотрю, катит на меня олень – что стог сена, рога – что борона. Я его и свернул. А если бы я по лебедям стрелял, то верст на пять распугал бы всех оленей.

– Да вот покойник Иван Кузьмич, – сказал другой гребец, – убил лебедя весной, а к осени и помер, через год жена померла, дети, дядя, весь род повымер.

– Эх, а что тоски-то в нем! Попробуй одну убить. Полетит кверху, будет на воду падать и пары себе уж больше никогда не подберет.

Я долго старался добиться, почему именно лебедь нельзя стрелять, но мне не могли этого объяснить. «Грех» – последняя причина в сознании местных людей.

Трудно понять, откуда взялось это поверье. Как известно, в наших сказках царевна обращается в лебедь, а в мифологии всех вообще арийских народов лебедь привозит и отвозит божества. Но если это поверье связано с древнеславянской мифологией, то почему же в былинах так часто «рушают» белую лебедь? Быть может, оно заимствовано от финнов? Или, быть может, связано с тем, что здесь, на Севере, староверы поддерживали законы Моисея, запрещающие употреблять в пищу лебедь? Как бы то ни было, но обычай прекрасен, и кажется, будто он непременно так и должен быть здесь, в этом краю непуганых птиц.

* * *

Вероятно, многие из необитаемых теперь выгозерских островов были когда-то заселены. Иногда увидишь врубленный в дерево восьмиконечный староверский крест, иногда попадаются сложенные в кучи, очевидно рукою человека, камни. Местные люди здесь находят котелки, монеты, стрелы. Есть много поверий о зарытых в них кладках. Острова кажутся могилами.

И в самом деле в этом краю, как и во всем Обонежье, происходили когда-то постоянные столкновения шведов, финнов и славян. Это было время непрерывных войн и опасностей. Вот почему, вероятно, стариннейшие селения здесь и до сих пор находятся на островах или в едва проходимой глуши. Большинство обонежских курганов, сопков, относится к этим старым временам. Но здесь, в Выговском краю, мало осталось об этом преданий. «На веках жили», и больше ничего. А чьи эти котелки, монеты, стрелы, могилы? Кто зарыл в землю кладки, о которых с такой уверенностью говорят старые люди? Здесь сейчас же ответят: это паны. Они тут жили, это всем известно.

– Вот тут жили, где Кузнецова изба стоит, – сказал мне раз один старик, и так уверенно, словно сам лично видел этих панов.

– А вот на том месте их главный притон был, – рассказывал мне дальше старик о панах.

Остров, на котором жили паны, называется Городовой и, вероятно, потому, что там было городище, укрепленное место, вроде небольшой крепости. Отсюда, с этого острова, по преданию, паны приезжали в селения, грабили их, забирали с собой крестьян и заставляли на себя работать. Но кто же были эти паны? Долго я не мог добиться, как объясняют себе местные люди появление панов в таком глухом краю. Наконец одна старая, девяностолетняя женщина, знавшая всякие сказки, стихи и былины, рассказала о них следующее:

«Был царь Гришка-расстрига; он женился в другой земле и взял жену Марину. Стали возить Маринино приданое и возили три года.

Раз шел конь с приданым, да остановился, устал. А пономарь звонил на колокольне, увидел и спросил:

– Что везете?

– Везем Маринино приданое.

Пономарь взял да и разбил одну бочку с воза. А там, в бочке, – два пана. Пономарь и объявил царю:

– Ваше царское величество, вот какое приданое возят с другой земли.

Пришла сила, повернула Маринину палату вверх дном. Марина же волшебница была, обернулась сорокой и улетела в окно. А паны разбежались по русской земле, вот и у нас жили и грабили».

Так объясняет народ появление панов в Выговском краю. На самом же деле вторжение панов относится к тому времени, когда разбитые в сердце России войска второго самозванца рассеялись по ее окраинам. Эти банды поляков, татар и казаков вторглись в Олонецкую губернию из Вологодского и Белозерского уездов. «Паны», по современным актам, оскверняли церкви Божии, снимали с образов оклады, мучили и секли крестьян, отнимая у них деньги и другое имущество, выжигали гумна и клети, а хлеб увозили с собой в остроги. Эти остроги, или острожки, были укрепленные места и, вероятно, находились там, где теперь указывают панские городки, или городища, как, например, остров Городовой на Выгозере.

Шайки грабителей бродили по Олонецкому краю более трех лет (до начала 1615 года). В конце 1614 года царь Михаил Федорович отправил на имя белозерского воеводы Чихачева грамоту с приказанием объявить казакам всепрощение и пригласить их на государеву службу против шведов с обещанием денежного жалованья. Казаки откликнулись и в январе 1615 года явились в сборном пункте (село Мегра Вытегорского уезда) в количестве от тридцати до сорока тысяч человек при семидесяти четырех атаманах, желавших идти на государеву службу под Новгород, под Ладого и под Орешек.

Так кончились эти тяжелые времена для Олонецкою края. Неизвестно, ушли ли в это же время и паны с острова Городового на Выгозере или, быть может, продолжали более или менее долгое время грабить окрестных жителей. А может быть, народ расправился с ними по-своему. Возможно и то и другое. Выгозерцы все, от старого до малого, рассказывают о конце панов такое предание:

Там, где теперь находится Койкинский погост (селение на острове в северо-западном большом заливе Выгозера), жил крестьянин Койко с своей старухой. Раз, когда Койко уехал на лов, паны пришли к его старухе и стали требовать денег. Но старуха денег им не показала. Паны убили старуху. В это время приехал Койко и сказал, что он знает, где клад, и взялся доставить панов туда.

Паны согласились и легли в лодку спать. Старик прикрыл их парусом и повез к Воицким падунам (то есть в северный конец Выгозера, к истоку реки Северный Выг). Как раз у того места, где находится падь, есть Еловый островок. У этого островка Койко бросил весла, ухватился за дерево и выскочил, а паны с лодкой полетели в пучину.

* * *

Я помню, что предания о панах мне рассказывали как раз в то время, когда я ехал на лодке осматривать Воицкие водопады. Говорят, что шум этих падунов бывает слышен еще в Дуброве, в десяти верстах от них. Но попутный нам ветерок уносил звук в другую сторону, и я ничего не слышал, даже когда мы приехали в Надвоицы – селение на Выгу, почти у самых Воицких водопадов.

Те гребцы, которые привезли меня в Надвоицы и брались доставить к водопадам, говорили, что это опасно. Но тут, в Надвоицах, местные опытные люди сейчас же предложили свои услуги доставить меня на тот самый Еловый островок, возле которого падает вода и где потонули паны. Гребцы взялись меня доставить на островок сверху, прямо над водопадами. Если бы я знал, как это опасно, то, конечно, уж предпочел бы ехать снизу, по обессиленной уже воде падунов. Но я этого не знал и поехал.

Выг у селения Надвоицы еще не имеет вида обыкновенной горной, бурливой реки. Однако все-таки вода довольно сильно стремится куда-то, всюду всплескивает о камни, бес-

покоится, всюду виднеются выюны, лодкой нужно только управлять. Впереди, посредине реки, виднеется кучка елей, с виду как раз такой же островок, как на Выгозере.

По мере приближения к этому острову, хотя и не видно падунов, начинаешь понимать всю страшную опасность такой поездки. Становится очевидным, что вода низвергается возле самого островка по обеим его сторонам, а между водопадами только каменный мысок, к которому и нужно непременно пристать лодке, иначе она полетит вниз. Хотелось бы повернуть назад. Но уже поздно, у гребцов рассчитаны все движения; теперь даже и говорить неудобно: малейшая ошибка – и конец всему. Один правит, а другой держит наготове жердь, чтобы удерживать лодку, когда она пристанет. Торопливо, с замирающим сердцем выскочил я на остров. А гребцы сказали, что приедут через час снизу, где они будут поездовать, то есть ловить рыбу сетью в клокочущей воде. Я остался один на каменной глыбе между елями, окруженный бушующей водой.

...Гул, хаос! Трудно сосредоточиться, немыслимо отдать себе отчет, что же я вижу? Но тянет и тянет смотреть, словно эта масса сцепленных частиц хочет захватить и увлечь с собой в бездну, испытать вместе все, что там случится.

Но, внимательно всматриваясь, замечаешь, что прыгающие брызги у темной скалы не всегда взлетают на одну и ту же высоту: в прошедшую секунду выше или ниже, в следующую не знаешь, как высоко они прыгнут.

Смотришь на столбики пены. Они вечно отходят в тихое местечко, под навес черной каменной глыбы, танцуют там на чуть колеблющейся воде. Но каждый из этих столбиков не такой, как другой. А дальше и все различно, все не то в настоящую секунду, что в прошедшую, и ждешь неизвестной будущей секунды.

Очевидно, какие-то таинственные силы влияют на падение воды, и в каждый момент все частички иные: водопад живет какою-то бесконечно сложной собственной жизнью...

С Елового островка видны только два водопада: средний, самый большой и величественно-спокойный, падающий отвесно, и правый, если стать лицом к Выгозеру, – бурливый, беспокойный, брызжущий; он называется «Боковой». Третий водопад нужно смотреть с берега; его не видно с Елового островка за другим голым каменным островком, сзади которого он и падает. Он называется «Мельничный». Теперь мельница находится вблизи Бокового водопада, но он все-таки по-старому называется Мельничный. По этому водопаду спускается лес при сплаве его в Сороку, потому что он значительно меньше, чем другие. Вода от всех трех водопадов собирается в небольшой котловине сзади Елового островка, который отсюда уже представляет довольно высокую скалу. В этой котловине разделенные натрое воды Выга встречаются и, словно радуясь встрече, бурлят, кипят, прыгают, вертятся, прижимаются к левому высокому скалистому берегу и уносятся, разливаясь вскоре широким Надвоицким озером.

В бурливой котловине, где встречаются воды, живописно разбросаны громадные валуны; кое-где на них сидят мальчики, удят рыбу. Тут же, на этой бурливой воде, поезжают с сеткой в руке ловцы, ловят хариусов и форель. А на верху высокой скалы, на сосне, ждет свою добычу всегда ненасытная скопа.

В Боковом падуне, хотя и чрезвычайно бурном, есть место, где вода падает по уступам, – вероятно, с высоты не более одной-полутора сажень; вот в этом-то месте и проходит беломорская семга в Выгозеро. По словам местных рыбаков, семга, ударяя хвостом о воду, может прыгнуть до двух аршин над водой. Стремление этой рыбы пробраться в реку к местам нерестования так велико, что она решается перескочить и падун. Прыгая с уступа на уступ по щельям⁵, она попадает наконец в Выг и в Выгозеро. Иногда она, не рассчитав расстояния, выпрыгивает на сухую скалу и тут же немедленно расклеивается скопой. Один местный батюшка, разве-

⁵ Щельями на Севере называются скалы.

дав ход семги, приспособил как-то у падуна ящик, так что в него попадала вся семга. Однако выгозерские рыбаки скоро потребовали от батюшки, чтобы он убрал свой ящик.

Перебраться с Елового островка на берег не совсем безопасно и снизу; поэтому приходится переезжать через ослабленную, но все еще быструю струю Бокового падуна. Маленькая долбленая лодочка, карбасик, ставится кормщиком приблизительно под углом 45° к струе. Вода, ударяя в нос карбаса, старается перевернуть его, но вместе с тем и относит на другую сторону. Ловкий удар веслом вовремя окончательно переносит карбас из бурлящей воды в тихое место, к берегу.

За рекой Выгом находится довольно высокая скала из хлоритового сланца, она называется Летегорой; за ней следует моховое болото, снова гора, но уже из талькового сланца, и потом возвышается над всею местностью прилегающая к северному углу Выгозера и Северному Выгу Серебряная гора.

Мне рассказывали, что где-то в пещерах этой горы течет струя чистого серебра, что место это знала одна старуха, но умерла, и теперь уже никто не может его найти.

Как ни фантастично это предание, но оно имеет основание; и по геологическому строению местности, и по тому, что недалеко, в окрестностях Сегозера, уже найдены залежи серебряной руды, можно думать, что здесь она есть.

Местные жители убеждены, что где-то здесь есть серебро. Рассказывают, будто даниловские скитники добывали руду, делали из нее рубли, и эти рубли ходили по всему Северу несколько дешевле правительственных.

Жилы же с медной рудой и затем с золотой были открыты здесь еще в 1732 году одним крестьянином из деревни Надвоицы. На полуострове, образуемом с одной стороны заливом Выгозера, с другой – Выгом, был основан Воицкий рудник в 1742 году. Сначала в нем добывалась только медь, но с 1745 года стали добывать и золото. Кроме этих металлов, в рудоносной жиле находилась в большом количестве и железная руда. Но рудник потом был заброшен... Вообще все исследователи говорят о громадном запасе руд в нашем Северном краю и сулят ему блестящую будущность.

Кому же жить в этом мрачном краю леса, воды и камня, среди угрюмых елей и мертвых богатств золота и серебра?

* * *

Казалось бы, что тихие, молчаливые, невзрачные финны более других народов могли бы примириться с этой жестокой средой, приютиться где-нибудь между озерами, скалами, лесами и медленно, упорно, молчаливо приспособлять себя к природе и природу к себе.

Но финну жить здесь не пришлось, его место заняли славяне. Эти оказались слабы, неприспособленны; они и до сих пор прозябают здесь, из поколения в поколение передают грустные воспоминания о своей когда-то жизнерадостной, разудалой жизни. Теперь они поют о соловьях, которых здесь никогда не видали, поют о зеленых дубравушках, окруженные соснами и елями, поют о широких чистых полях.

Нет, всякое обычное существование не удовлетворило бы этот край. Он не загорелся бы всею полнотою своей могучей внутренней силы.

Однако было же время, когда край встретился с равным, могучим и гордым противником. Восьмиконечный врубленный в дерево крест, полузросшие мохом кладбища, полуразрушенные часовенки, предания о местах самосожжения – вот все, что осталось от этого времени борьбы и жизни в этом краю.

Историю этой борьбы старообрядцев с суровой природой я расскажу потом, когда мне придется говорить о скрытниках или пустынниках, старающихся в нынешние времена воспроизвести жизнь первых, одушевленных религиозной идеей, борцов-раскольников. Но теперь я

передам сначала все, что мне удалось узнать из жизни людей на Карельском острове и в других селениях Выговского края.

Вопленица

Кто никогда не бывал в нетронутых культурой уголках нашего Севера и знает родной народ только по представителям, например, черноземного района, того поразит жизнь северных людей. Поразят эти остатки чистой, не испорченной рабством народной души.

Сначала кажется, что вот наконец найдена эта страна непуганых птиц: так непривычна эта простота, прямота, ласковость, услужливость, милая, непосредственная. Душа отдыхает, встретив в жизни то, что давно уж забыто и разрушено, как иллюзия.

Хорошо быть таким путешественником, чтобы скользить по жизни и уносить с собою, не задумываясь, такие прекрасные, радостные настроения. Но я себе выбрал неудачную в этих целях систему наблюдения края посредством внимательного разглядывания одного маленького, но характерного его уголка. На месте не нужно задерживаться, а ехать и ехать; тогда непременно получится веселая и пестрая картина.

Задержавшись на месте, приживаешься, свыкаешься и понемногу уходишь в глубину человеческих, мелких, скрещенных интересов. Не успеешь оглянуться – исчезла иллюзия, исчезла страна непуганых птиц: живут себе люди как люди.

Одна баба украла житную муку. Другая, хотя и «по тяжелой душе», но доказала. Воровку с мешком на шее и со сковородой на спине провели по деревне. В сковороду стучали, перед каждой избой заставляли женщину кланяться. А вот Акулина, у нее что-то неладно: муж в бурлаках, а она Максимку чаем поила. Собрались кумушки и постановили: «За Акулиной присматривать». Про Дашку и говорить нечего: эта «вольная», одна только и есть такая в деревне. Конечно, совсем худого за ней никто не знает ничего. Послужила она в Шуньге горничной и явилась не в сарафане, а в городском платье, с мужиками вертится, мужики ее вертят, что совестно смотреть. Да оно и понятно. Раз, главное, отец гулящий, худой был, на сплавах и на море загуливал, да и мать тоже... все знают, какая была. У всех на памяти, как из-за нее в Петров день вся деревня передралась. Лодочник Кожин поспорил из-за лодки с заказчиком на улице. Стали ругаться крепче и крепче. Лодочник и скажи при народе: «Я не жена твоя, что даром с мужиков деньги берет». И поднялось! Откуда ни возьмись у бабы кол, колом она его по лбу. А за лодочника его бабы и ребята вступились, за ребятами матерые люди. Полетели камни, всю огороду на колья разобрали. И много-много всего увидишь и узнаешь, как обживешься. В деревне все на виду, каждый с удовольствием расскажет всю подноготную про своего соседа порядового. Слушаешь, слушаешь, наконец станет обидно за человека. «Да есть ли кто у вас, кого не коснулись эти людские пересуды?» – «Как же, как же, – скажут, – есть, есть такие». И так скажут это «есть», что успокоишься. Непременно есть в деревне такие люди.

Вот такой-то исключительный человек на Карельском острове – вопленица Степанида Максимовна.

– Максимовна – это особое дело. Максимовна у нас горюша, хлебнула она горя, бедная.

Но прежде чем рассказать о Степаниде Максимовне, я должен сообщить здесь то, что знаю о вопленицах и их назначении, потому что Максимовна – известная по всему Выгозеру вопленица, плакальщица или подголосница.

* * *

На Севере, знакомясь с народными верованиями, надгробными плачами и похоронными обрядами, можно почувствовать себя вдруг среди славян-язычников. Множество признаков здесь говорит о них. Во многих, например, местах Архангельской и Олонецкой губерний в Ильин день перед церковью закалывают быка. Часто можно услышать, как женщина, увидав бабочку, скажет: «Вот чья-то душка летает»; точно так же скажут иногда и про голубя, утку,

про заюшку и горностаюшку, – несомненные следы верований в переселение душ в животных. Иногда почему-то кладбище представляет собой своеобразную картину: крестов на нем почти нет, но зато на каждой могиле лежит лопата и стоит обыкновенный печной горшок, возле горшка рассыпаны угли. Этот обычай, без сомнения, языческого происхождения и введен, вероятно, старообрядцами. Если же ознакомиться с надгробными плачами, то тут раскроется величайшая глубина и поэзия народной души. Правда, искренность, чистота сердечных движений при утрате близких, родных несомненны, а потому и плачи дают богатый материал как для науки, так и вообще для понимания жизни народа.

В этих плачах разработана одна великая драма: борьба со смертью. И борьба не в каком-либо переносном значении, а настоящая борьба, потому что для язычника смерть не успокоение и радость, как для христианина, а величайший враг. Человек мог бы жить вечно, но вот является это чудовище и поражает его.

Прежде всего являются зловещие признаки приближения этого величайшего и непобедимого врага. На крышу избы садится птица – филин, ворон или сова – и укает по-звериному, свищет по-змеиному. Человек готов вступить с ними в борьбу, он готов отдать все свои силы, лишь бы избавить любимое существо от смерти. Но злодейка-душегубица идет крадучись: по крылечку идет молодой женой, по сеням красной девушкой, или залетит птицею-вороном, или зайдет каликой перехожею. Перед вечным врагом бессильно опускаются руки. Остается умиловить, вступить с нею в сделку. Чего-чего только не предлагается ей: и жемчужная подвесочка, и платочки левантеровы, и сбруя золоченая, и золотая казна, и гулярно цветное платье, и любимая скотинушка. Но смерть, или судина, не только неумолима, но даже радуется страданиям, с наслаждением плещет в длани, водит ужасно голосом и поражает жертву смертельным ударом.

Человек умирает, вроде как «солнышко за облачком теряется, светел месяц поутру закатается или как меркнет звезда поднебесная».

Душа умершего человека селится в особом домовище или улетает в надзвездный мир, в царство вечного света, тепла. В этом мире души умерших парят, сходятся и расходятся легкие, свободные, как облака: «Стане облачко с облачком сходитися, може друг с другом на стрету постретаетесь».

Все эти изначальные народные верования сохраняются и до сих пор на Севере. «Из среды народа, – говорит Барсов, – выступают личности, которые еще долго являются носителями древней погребальной причеты, известные под именем плакальщиц, или воплениц; в данном случае они пользуются едва ли не священным уважением в народе; и долг в отношении умерших, и тяжелое чувство дорогой потери, ищущее облегчения в ясно сознанных думах и слововыражениях, долгое время поддерживают еще их существование. Благодаря своим природным дарованиям вопленицы живо усваивают, сохраняют и преемственно передают друг другу формы и отчасти содержание древней священной причеты. Время и история мало-помалу стирают содержание плачей, но они еще долго не могут осилить присущей им свежести и силы живых явлений природы и совсем уничтожить их воздействие на человеческую душу. Вопленица по преимуществу является истолковательницей семейного горя; она входит в положение осиротевших; она думает их думами и переживает их сердечные движения; чем богаче ее запас готовых оборотов и древних эпических образов, чем лучше она обрисовывает думы и чувства в животрещущих явлениях природы, тем умильнее и складнее ее причитания, тем большим пользуется она влиянием и уважением среди народа. Отдать последний долг умершему собираются иногда целые селения, а потому мы не вполне определим значение вопленицы, если будем представлять ее истолковательницей чужого горя; влияние ее шире: она объявляет во всеуслышание нужды осиротевших и указывает окружающим на нравственный долг поддержки, она поведает нравственные правила жизни, открыто высказывает думы и чувства,

симпатии и антипатии, вызываемые таким или другим положением семейной и общественной жизни».

* * *

С вопленицей Степанидой Максимовной я познакомился таким образом.

Раз ночью не спалось. Непривычному человеку трудно приспособиться нормально спать такую ночью, когда так светло, что далеко от окна можно свободно читать и писать. Помню, мне показалось, что на небе сверкают какие-то полосы, похожие на радугу. Меня очень заинтересовало это явление: ночью, в двенадцать часов – радуга! Я подошел к окну и стал разглядывать. Явление это для меня так и осталось неразгаданным, но дело не в том. Когда я разглядывал из окна яркие полосы, то до меня отчетливо доносился разговор снизу. Говорили две женщины.

– Раз и мне пришлось его видеть.

– Ну, какой же он из себя?

– Да на моего хозяина схож, тоже в красной рубашке показался, борода большая, сам маленький, лучинка в руке.

– А где же ты его видела?

– Да в хлеву.

– Ну, так это не домовой, это дворовой хозяин. Домовой не показывается: его только во сне можно видеть или если истомиться и забудешься. Вот мне пришлось его видеть, как муж помер. Ходила я тогда, матушка, вопеть на могилку. И так-то я порáто вопела, что задрожить вся. Тут-то он мне и стал показываться. Стала я с лица спадать. Домашники замечают, а не знают отчего, думают – с тоски по мужу. Раз я так навопелась, подоила коровушку, да и вошла в избу. Темно, тихо, ребяташки спят, только слышно, как на печи старичок, странник захожий, крихтит и стонет. Хотела я лучинку зажечь, да что-то нэможно стало, и прилегла на лавочку. И забылась. Сплю не сплю, сама не знаю. Слышу, дверь отворилась... вошел... идет ближе, ближе... А шевельнуться не могу. Вижу, стоит... темно... разглядеть не могу, и так-то он гораздо и горячо дышит. Наклонился ко мне и за руку взял... Шерстн-о-о-й!

– Шерстной, говоришь?!

– Шерстной, матушка, прешерстной. Кричу: «Дедушка, слезь с печи!» – «Что с тобой, – баит, – дитяtko?» Заплакала я тут: «Не хочу, – говорю, – умирать». А потом и согрешила: «Дедушка, – говорю, – умри за меня!» – «Рад бы, – говорит, – душка дорогая, рад, да это дело Божье».

Я взглянул в окно и посмотрел вниз, на говоривших; меня заметили и перестали разговаривать. На другой день, когда старичок, мой хозяин, привел меня в дом Степаниды Максимовны, чтобы послушать ее воп, я узнал в хозяйке ночную рассказчицу. Небольшого роста, живая старушка, с ясными, чуть заволоченными дымкой грусти и горя голубыми глазами. Бесчисленное множество детей окружало ласковую старушку. Дети и на лавках, и под лавками, на полу, дети держатся за юбку старушки, выглядывают из-за ее спины, дети пищат в трех зыбках. Кажется – все... но, смотришь, где-нибудь у печки копошится в золе совершенно голенький; оглянулся, – там еще и еще...

– Вот, Максимовна, гостя тебе привел, хочет твой воп послушать, – сказал старик.

– Милости просим, милости просим, гость дорогой, только вопеть-то уж я как будто и стара.

Кое-как мы уломали Максимовну. Она села на лавочку и, уставившись в какую-то далекую точку, стала причитывать... И мне стало неловко... У старушки катились по щекам слезы, она обнажала свое горе искренне, просто и красиво.

Я оглянулся на старика, – он плакал. Улыбаясь сквозь слезы стыдливо и виновато, он мне потихоньку сказал:

– Не могу я этого ихнего вопу слышать. Как услышу, так и сам завоплю. Дома, как завопят бабы, я гоню их вон чем попало... Не могу...

Все женщины в избе плакали. И даже молодой парень как-то уж очень неестественно повернул свое лицо в угол. Мне было неловко... Знал бы я, что даже в обыденной жизни надгробная песня может вызвать такое серьезное чувство, то, конечно, не стал бы просить Максимовну вопеть при людях. Но она все вопела и вопела...

Вслушиваясь в плач вдовы по мужу, я понял, что тоскливое чувство вызывала главным образом маленькая пауза в каждом стихе. Спев несколько слов, вопленица останавливалась, всхлипывала и продолжала. Но, конечно, много значили и слова.

Надгробные песни Степаниды Максимовны – образцовые произведения народной поэзии. Вот одна из них.

Плач вдовы⁶

Уж как сесть горюше на белую брусовую на лавочку,
Уж ко своей-то милой, любимой семеюшке,
Ко своей-то милой венчальной державушке.
Ты послушай, моя милая, любимая семеюшка:
Уж по сегодняшнему Господнему Божьему денёчку,
Как по раннему утру утреннему
Вдруг заныло мое зяблое ретивое сердечушко,
Вдруг налетела малолетне мала птиченька,
Стрепенулась на крутом на складном сголовице.
«Ты долго спишь, вдова, сирота бесприютная!
Как на раскат горе на высокой
Там рассажены сад, виноградье зеленое,
Там построено теплое витое гнездышко,
Там складены теплые кирпичные печенки,
Там прорублено светлое косяцато окошечко;
Там поставлены столы белодубовы,
Там скипячены самоварчики луженые,
Там налиты чашечки фарфоровы,
Там дожидает тебя милая любимая семеюшка».
Так уж будь проклята малолетна мала птиченька!
Обманула меня, победну вдову, горе горькое.
Как на той на могилочке на умершей
Не поставлено дивно хоромно строеньице.
Там повыросла только белая березка кудрявая,
Там не дожидает меня милая венчальная державушка:
Видно, уж отпало желанье великое...
Да уж как я подумаю, вдова, сирота бесприютная:
Уж как порозобьются быстрые, струистые реченьки,
Уж пробегут эти мелки, мелки ручееченьки,
Уж как порозобьется славно широко озерушко,
Уж как повыйдут эти мелкие белые снежечки,
Я проторю путь торну широку дороженьку
Я на раскат на гору на широкую
Да ко той-то милой умершей семеюшке.
Уж вы завийте, тонкие сильные ветрушки,
Уж разнесите эти мелкие желтые песочки,
Раскались и эта нова гробова доска,
Раскалитесь, распахнитесь, белы саваны,
Уж покажись, моя милая любимая семеюшка!
Уж ты заговори со мной тайное единое словечушко.
Уж поразбавь, поразговори, самоцветный лазуревый камешек.
Уж как придет темная зимняя ноченька,
Уж я заберу моих милых сердечных детушек,

⁶ Записано со слов вопленицы Степаниды Максимовны. Выгозеро, Карельский остров.

Уж как закутаю теплым собольим одеялышком.
Уж как погляжу на это умноженное стадо детиное —
Пуще злее досаждают, одоляет тоска-кручина великая.
Погляжу я в это светло косящато окошечко,
Как на эту раскатну гору на высокую:
Уж нейдет, не катится моя милая любимая семеюшка,
Уж, видно, так мне проживать-коротать свою молодость,
Не порой пройдет да не времечком,
А пройдет молодость горячими слезьми:

...

Вопленицей, истолковательницей чужого горя, Максимовна сделалась не сразу. Чтобы понимать чужое горе, нужно было выпить до дна полную чашу своего собственного. «Сама я, — говорит Максимовна, — от своего горя научилась. Пошло мне обидно, поколотно, несдачно, вот и научилась».

И все объяснение. Простой народ о своем таланте не станет кричать. Между тем Максимовна несомненный и в своем месте общепризнанный талант. В девушках она была первой «краснопевкой» на Выгозере, в детстве знала и пела всякие байканья, укачивая в зыбке детей. Постепенно, шаг за шагом, жизнь изменяла невинные игривые детские песенки Степки Максимовой в девичьи песни краснопевки Степанидушки, потом в свадебные прощальные заплачки невесты, в надгробный плач вдовы по мужу и, наконец, в причитания плакальщицы Степаниды Максимовны. Вот почему жизнь ее достойна описания.

Родилась Степанида Максимовна вблизи Выгозерского погоста, на пожне. Мать ее при этом случае косила в сторонке от своих, бросила косу, ухватилась за сосновый сук и родила. Она завернула ребенка в юбку и принесла домой.

Из детства Максимовна помнит, как «по тихой красотушке» она ездила в праздник в лес за ягодами, как сопровождала мать на рыбную ловлю и выкачивала плицей набежавшую в худую лодку воду, помнит, как укачивала ребенка, когда мать уезжала на сенокос. На ней, пятилетней девочке, тогда оставалось все хозяйство. Сделает она, бывало, штейницу, кашку из житной муки, молока и воды, покормит ребенка и целый день качает его и поет байканья. Больше всего у ней осталось впечатлений от поездок в лес за морошкой. Эти поездки не забава, а серьезное дело, потому что морошка такая же пища, как и хлеб и рыба, в особенности если ее набрать побольше и зарыть на болоте. Там она хорошо сохраняется до зимы. В лесу, когда собирали морошку, девочки старались не отходить далеко от матери, а то мало ли как может пошутить Шишкó! В этого Шишкó и вообще во всю лесовую силу Максимовна и теперь глубоко верит и не допускает малейшего сомнения в их существовании.

Раз был такой случай.

Теткины девочки уехали на Медвежий остров за ягодами да долго не возвращались. Вот тетка и скажи: «Черт вас не унесет, ягодницы!» А девочки в это время собрали по корзинке ягод и вышли на лядинку. Смотрят, дедушка старый стоит на той же лядинке и дожидается их. «Пойдемте, — говорит, — девицы, со мной». Они и пошли вслед. Вот он их повел по разным глухим местам, где на плечо вздымет, где спустит. Как только девочки сотворят молитву, он им сейчас: «Чего вы ругаетесь! Перестаньте!» И привел он их в свой дом, к своим ребятам: человек восемь семейство, ребята черные, худые, некрасивые.

Спохватились дома — нет девиц. Поискали, поискали и бросили; пошли на Лексу в скит к колдунье. Та отведать долго не могла; так они и выжили двенадцать дней у лесовика. И всего-то им там пищи было, что заячья да беличья говядина; истощали девки, краше в гроб кладут.

Когда колдунья лесовика отведала, он и принес их на плечах к реке. Одну за ухо схватил и перекинул через речку, так что мочку на ухе оторвал, а другую, старшую, на доске отправил. Две недели девицы лежали, не могли ни есть, ни пить.

Много случаев помнит Максимовна, когда и ее пугал Шишкó, но всего не перескажешь.

В детском кругу Степку с десяти лет уж стали все называть «краснопевкой», то есть, по-городскому, редкой талантливой певицей. Бывало, как соберутся к празднику на погост, в Койкинцы, на Карельский остров или в другие деревни, – в каждой деревне свой праздник раз в год, – Степка всегда первая в хороводах, все песни она запекает: утошные, парками, шестерками, круговые. Да не такие песни, что теперь поют, частенькие да коротенькие, а настоящие досюльные, хорошие песни. Парочка подбиралась в величайшей тайне от всех. Но где тут укрыться! От деревни к деревне, от праздника к празднику идет слушок. И ему придают значение не только дети, но снисходительно прислушиваются и матери. Почему Гаврюшка и Степка рядом в церкви стоят, почему играют вместе? Дети стали укрываться от слушка. Разве только Гаврюшка с воза рукой махнет или передаст на пожнях конфетку. И так шло год за годом.

Степанидушка стала известной красавицей из зажиточного дома. Настало время, когда идеальная связь Гаврилы и Степаниды должна была получить жизненное испытание. Гаврило услышал, что «Боровик губастый» послал к Степаниде сватов. Как услышал, сейчас же сел на лодку – и на погост. Вечером подкараулил Степаниду. И как же плакала, бедняжка! Да еще бы не плакать: первая красавица, а жених немолодой, рябой, губастый, и прозвище «Боровик».

– Если ты мной не брезгаешь, – сказал Гаврило, – останься до весны: меня тогда обязательно женить будут, потому что у нас работать некому. Чем казачку (работницу) нанимать да платить, лучше уж свою взять, а так не уберутся.

– Не знаю, – сказала Степанида. – Если нам на этом остаться, мать не поверит... отдаст... Задумался Гаврило.

А Степанида, как вернулась в избу, так и уперлась на своем: не пойду и не пойду.

– Знаю, – сказала мать, – на Гаврюшку надеешься. Понадеешься, да и будешь сидеть в вековухах. Что мне, в щах тебя варить, что ли? Ольгина мать тоже жарила, жарила Егору яичницу... зятек, зятек... а зятек другую взял. Вот и пошла Ольга за вдовца.

Но Степанида не сдавалась.

«Что я, враг, что ли, ей?» – подумала мать, надела шубу, да и на Карельский, к Радюшным. Приплыла только вечером. Сидят пáужинают.

– Хлеб да соль!

– Хлеба кушать! Милости просим. Садись, хвастай!

– Спасибо, я в лодке поела, не хочу.

– Ничего, хлеб на хлеб валится.

И села. А сама незаметно все на Гаврюшку поглядывала; да и махнула ему пальцем.

Смекнул Гаврюшка и вышел помочь ей кошель до лодки донести.

– Ты что же это мою Степку сбиваешь?... Куй железо, пока горит, а девицу отдавай, пока сваты бьются... Знаешь Ольгу Егорову? Так нельзя. Хочешь взять, так помолились бы Богу, что ли...

И опять задумался Гаврило. Сказать страшно. Не пил, не ел, стали домашники замечать. Раз ночью подошла мать.

– Ты чего не спишь?

– Да кусает, матушка.

– А чего же раньше не кусало? Знаю, знаю, по ком вздыхаешь. Сказать, что ль, отцу?

– Боюсь.

– Чего бояться? Мы нынче живы, а завтра Бог знает. Вам жить, а не нам. Скажу.

Отец согласился. Степаниде Максимовне выпало счастье: пришлось выходить замуж по желанию.

* * *

Вот тут-то и началась церемония, о которой с величайшей готовностью во всех подробностях рассказала мне Степанида Максимовна.

Совершенно так же, как и в новгородскую старину, сватом сходил крестный отец. Хотя и сяжно было, но не сразу согласились невестины родители. «Позвольте, – сказали они, – думу подумать, вот родня соберется».

И другой раз сходил сват. На третий привели жениха пить рукобитье.

Затянули столы скатертями, хлеб-соль положили, у иконы свечку затеплили, утиральник повесили. Помолились Богу и выпили рукобитье.

В это время и научилась Степанида вопеть по-свадебному, или «стихи водить». Ей казалось, что свадебные причитания сами собой пришли ей в голову, как понадобилось. Но на самом деле, незаметно для себя, она из года в год постигала эту премудрость, прислушиваясь к «голосу» других невест. Многое, конечно, создалось и так, как думает Степанида Максимовна, то есть непосредственно вылилось.

Сначала она вопела отцу:

Становилась подневольна косата голубушка
На одну мостиночку дубовую...
Уж не катитесь, мои горькие слезы горячие,
По моему блеклу лицу, не румяному...

Вся в слезах, благодарила она отца и приносила ему покор, благодарность великую, что не жалел он для нее «казны собенной несчетной», покупал ей «цветно платьице лазурево», «снаряжал и отправлял ее по честным владычным праздничкам». Теперь она просила его не пожалеть скорой скороступчатой лошадушки и собрать всю родню к последним столам бело-дубовым.

Почти целую неделю Степанида гостила и вопела у всех кумушек, сестреюшек и даже у соседей. Придет, бывало, к кому-нибудь, а уж там для нее самовар согрет, на столе тарелка с пряниками, со всем, что найдется. Посидят, побеседуют, а на прощании невеста вопит «легоньким вбпом»:

Отпустите на мою слезу слезливу на свадебку,
Когда я буду расставаться с своей вольной волюшкой.

Всех обошла Степанида и вдруг вспомнила про свою любимую подруженьку, теперь покойницу:

Уж вы повийте, тонкие ветры холодные,
Из-под холодной из-под северной сторонушки...
Раскатитесь, пеня, колодья валючии,
И повыстань, моя красная красивая подруженька...

Но час-часочек коротается. От жениха стали приходиться дружки, торопить. Бывало, придут:

– Бог помощь, живите здорово, Петр Герасимович, Марья Ивановна, Степанида Максимовна, вси крещеные. Как здорово живёте?

– Просим милости, по́дьте, пожалуйста, проходите, садитесь.

Посидят, отдохнут, отдадут жениховы гостинцы, да и скажут:

– Недосуг нам проживаться да прокармливаться, немощно ли как поскорее?

– Ну, ладно, – отвечают им, – поноворите, дайте волю, мы вас дольше ждали.

Между тем в семье происходило прощанье невесты с отцом, с матерью, с братьями, с подруженьками и, наконец, с своей русой косой красовитою.

Утром подруженьки будили ее песней и мало хорошего ей сулили:

Ты чего спишь, глупая белая лебедушка,
Как в ногах стоит страшная гора страховитая,
А в головах стоит женское житье подначальное.

Проснувшись, она просила принести холодной свежей водушки с этого Выгозера страховитого. Но эта вода оказывалась со мутотом и ржавчиной. Подруженьки приносили со струистой быстрой реченьки, но и эта вода была несчастной. Наконец, водушка из темного леса из колодечка оказалась счастливой и могучей.

Тогда Степанида просила мать взять частозубчатый гребешок и расчесать дорожку вольную волюшку, свою косу красовитую по единому по русому по волосу и завязать семью шелковыми ленточками.

Это время самое интимное, самое священное для девушки: красование.

Тут отец, мать, братья, вся порода родительская. Невеста, разукрашенная, разодетая, ходила «по одной дубовой мостиночке».

Благословите, жалки желанны родители,
Уж мне пойти ко теплему витому гнездышку,
Уж мне расстаться с моим дорогим привольным девичеством.

Долго-долго причитывала невеста. Все спрашивала, куда бы положить свою вольную волюшку: обернуть заюшкой, водоплавной утушкой, повесить на липовой жердочке или у матери в виноградном зеленом саду? Но везде ее воле было не место и не местечко. Осталось разделить ее между подружками советными.

Утром в день венчания явились, наконец, поезжане: жених, его родители, тысяцкий, бродяга. Их встретили подруженьки свадебными песнями.

Когда все расселись по порядку: ближняя родня повыше, дальняя пониже, тысяцкий постукал батожком по грядке и сказал, обращаясь к дружкам:

– Господи Иисусе Христе, а подайте нам, за чем мы пришли!

А дружки сходили к невесте и сказали:

– Есть в дороге, да пала погода, занесло дорогу пороюто.

Наконец появилась Степанида, поднесла «князю» на подносе платок, а он положил ей денег, мыло, зеркало и гребень. Началась церемония продажи невесты. За нее просили денег, торговались, уверяли, что она им стоила дорого, что ее кормили, поили, одевали. Наконец Степаниду продали и пропили. Одним словом, разыграли комедию, взятую из старинных времен языческого славянского быта. После этого оставалось отдать долг и новейшим христианским временам – повенчаться в церкви.

Но не так легко язычникам стать христианами. Уже в то время как отец и мать благословляли Степаниду иконой, принимались всякие меры, чтобы враг не испортил молодых, не бросил бы чего между ними. Был приглашен специально для этого даже колдун с Химьих песков. Особенно стерегли молодых, когда сажали в сани. Усадивши, их хорошо закутали и отвезли в церковь.

После венчания поплыли на лодках, так же как и в Венеции, на Карельский остров к жениху. Там молодых обсыпали хлебными зёрнами, молились, здоровались, обходили столы. Тут собралось народу «лик ликом», было последнее столование. Пили «горько», клали деньги в рюмки. Наконец, молодых увела проводница спать. На глазах ее молодая сняла у князя сапог, и он положил ей в него деньги...

Утром вытопили байню, и проводница сводила в нее молодых. Для посторонних тем дело и кончилось, но для молодых только началось.

* * *

Стали жить и поживать. За старшим сыном женили другого, и так – всех шестерых. Старика соседи укоряли, что девок по виду выбирал, а на природу не смотрел. Между тем первое дело природа. С виду девка будто бы и хороша, а, глядишь, у свекрови над головой горшок разбила. Почему? Потому что вся ее природа была хитрая да воровитая. В девках все хороши, всякая жениха хочет и себя смиренницей ставит, поди ее раскуси. А вот как завязали рога на голове, так и скажет: «Теперь моя голова прикрыта, знать я никого не хочу».

Еще при жизни старика пошли несогласия между братьями из-за баб. «Напрасно старик большой дом выстроил, – говорили дальновидные люди, – не жить им вместе».

Помер старик. Словно предчувствуя беду, сильно убивалась старуха. Где уж ей теперь справиться, удержать вместе такую семью! Одна надежда оставалась теперь на Гаврилу, к которому переходила отцовская власть, и на большуху Степаниду.

Братья еще кое-как держались, но жёнки так и шипели: «Кончился лиходея наш, комом ему земля, не работал, а только распоряжался хозяйскими деньгами. Теперь хоть свет увидим. Вот когда бы только эта змея кончилась». Но старуха отлично понимала, что ей не справиться с ними, и передала хозяйство Степаниде. Еще на похоронах она вопела:

Уж ты у дверей будешь придверница,
У ворот будешь приворотница,
У замков будешь замочница,
Во дому будешь большухою.

Трудное дело большухи в таком доме, где все врозь лезет. Ко всей хозяйственной суете можно привыкнуть: пораньше вставать, хлопотать у печи, будить, распределять работу, вечно толкаться из стороны в сторону и не знать себе покоя. Но самое трудное дело – это ладить со всеми. На лов ли ехать, на пожни, к празднику, тут уж нельзя свой нос вперед совать. Нужно помалешеньку выведать, кто как думает, а потом и предложить на совет. Но человек – не машина: раз удалось, два удалось, а на третий и сорвалось. А тут меньшуха такая попалась, что раскопала всю семью. Всем-то она недовольна, дела не делает, а только и знает, что гнусит под палец. Она всегда может уязвить большуху тем, что у той шесть человек детей, значит шесть ложек, а у нее только две: она сама да муж. Наконец не стерпела Степанида:

– Ах ты, нищая, с голодухи мы тебя и в дом-то взяли!

– А я не просила, – ответила меньшуха, – у ворот не стояла. Я вот тут одна с мужем, а ты в шесть ложек ешь!

Меньшуха сказала, другие молчали, но словно стали коситься и замечать, что Степанида-большуха в шесть ложек ест. И день ото дня стало все хуже и хуже. Раз пришли на пожню. Взяла большуха, как водится, батожок, разделила на шесть полос, чтобы каждый свое дело знал. А меньшуха тоже взяла батожок, отделила шесть частей большухе, а одну – для себя.

– Вот, – сказала она, – тебе шесть частей, у тебя шесть ложек.

– Да как ты смеешь? Я тебя косой!

Но меньшуха как сказала, так и сделала: скосила свою часть, а потом легла на сено и пролежала так до вечера.

Тут уж все подумали: «Не жить вместе».

Пришли домой, сели паужинать молча. Словно гроза собиралась. Протянул было Мишутка большухин ложку к ухе, а меньшуха как его по руке ударит! Всех так и взорвало. Стали ругаться, кричать, собрались в кучу, не расходятся. У кого в руках кочерга, у кого скалка, у кого нож.

– Начинай!

– Нет, ты начинай!

– Ну, тронь!

– Тронь ты!

Стали по судам ездить, жалобы за жалобой. А раз чуть большака не убили.

Пошла Степанида коров посмотреть, слышит – в избе крик и шум. Прибежала назад к избе, а дверь заперта. Смекнула, в чем дело, бросилась к дровам, захватила охапку поленьев, стала швырять в окно поленьями и разогнала мужиков.

Бывало и так, что схватят двое-трое одного и тянут в разные стороны. Раз люльку с ребенком в окно вышвырнули, так что ребенок на всю жизнь остался с кривым ртом. И много было всякого греха.

Наконец решили делиться.

Разделили соленое лосиное мясо, рассыпали рожь, развесили муку, поделили скот, сено, солому, горшки, – все разделили. Неразделенным остался только дом, потому что зимой нельзя строиться. После этого стали жить в шесть семей в одной избе. В одном углу поместились Гавриловы, в другом – Семеновы, третий угол занят печью, четвертый красный. Остальные четыре семейства разместились на лавках, на кроватях. Один уголок парусом завесили. Решили так и коротать зиму.

С внешней стороны как будто бы и печальная, даже мрачная картина разрушения. Но это только на вид; с внутренней стороны в этой жизни было столько счастья, перспектив на будущее, что если бы знали даже самые предовольные соседки, то уж, конечно, позавидовали бы или, самое меньшее, задумались о суе мирской, о ничтожестве всего земного.

Счастье так и блистало во время обеда, когда каждый из шестерых отцов, теперь сам большой, поглаживая бороду, дожидался на кровати своего собственного горшка. Раньше, бывало, большуха истолчет вареное мясо и распустит в горшке, а теперь всякий ест, как хочет. И как довольна мать, когда, выделив косточку, подзовет своего любимого Мишеньку или Сереженьку поглотать.

Бывало раньше, кто-нибудь один нехотя погонит скотину к озеру на водопой. Теперь же всякая хозяйка у своего хвоста спешит с любовью и гордостью исполнить свои обязанности. Дивились соседи и смеялись.

Не без того, конечно, чтобы семейное счастье иногда не нарушалось. Сидят ребятишки на кровати, а под кроватью горшки наставлены, квашня. Вдруг влетает в избу поросенок из другого семейства – и под кровать: повалил горшки, попал в квашню. Прибежала жёнка, стала его хворостиной стегать, а хозяйка поросенка заступаться. Визг, крик, скандал.

А как теперь кур кормить? Птица, как известно, не сеет, не жнет и не признает чужой собственности. А сколько неприятностей у печи! Раньше ставилось в печь всего два больших чугуна, для каши и для ухи, и хозяйство вела одна большуха. А теперь в печи ежедневно грелось двенадцать горшков, а у печи шесть хозяек. Как же тут не зацепить, не повалить?

Но все эти неприятности пробегали легко, игриво, как случайные ветерки на озере в ясный и тихий день. Впереди весна, когда всякий заживет своей собственной, отдельной и довольной жизнью.

И весна пришла. Стали строиться. В одно лето на Карельском острове прибавилось пять новых дворов. Все стали жить по-своему, отдельно, хорошо. Одни только лошади, по привычке, долго ходили на старый двор.

* * *

Вскоре после раздела, когда жизнь только начала налаживаться, на озере потонул Гаврило. Степанида Максимовна, еще молодая женщина, осталась одна «со умноженным со стадом со детинным». С тех пор ее жизнь, вплоть до тех пор, пока ей не удалось вырастить детей, была сплошным испытанием.

По мужу она так вопела, что падала в судорогах, дрожала, хрипела. Ее поднимали, оттирали, отпаивали молоком, и она снова принималась вопеть. Наконец, ее решили протащить под гробом мужа, что, по местным верованиям, помогает.

– И вот, – рассказывает теперь Максимовна, – когда меня волочили, я хребтом в гроб упиралась. Упрусь и шепчу: «Ходи ко мне, ходи!» А когда последний раз прощалась, так в голые губы поцеловала, холодные, и слезу на лицо ронила, а сама шептала: «Ходи ко мне, ходи». Он и стал ко мне ходить, да так часто, что и не прилюбилось. Навопелась раз я, – а я каждое воскресенье к нему на могилу вопеть ходила, – и надела мужнину шубу да в одевальницу закуталась, а то после вопу-то дрожь брала. Поехала за сеном. И только проехала сеной наволоком, вдруг рапсонуло мне на воз. Гляжу – муж в жилецком платье, шепчет мне: «Пусти, пусти, не кричи, я не мертвый, я живой!» Думаю я, какой мне-ко разум пришел, и одурно стало, дрожь на сердце пала, и будто кожу сдирают. А уж как гугай-то (филин) в лесу кричит, да собачка лает, да вся эта лесовая-то сила – страсть! А по снегу все кубани (тени), все кубани бегают! Кричу я сыну: «Микитушка, подь ко мне на воз!» Сидим на возу: я вижу, а он не видит. И сказать боюсь, парень пугаться будет. Думаю, дай-ко стану на воз, может, отстанет. Стала, да тут же и пала. Так без памяти и без языка сколько-то времени лежала. Снегом меня оттирали, чаем поили, на печь положили, отжила.

Так от собственного горя и научилась вопеть Степанида Максимовна. Стала ходить вопеть и по людям, подголосничать на свадьбах.

Такая же судьба, или приблизительно такая, бывает, вероятно, у всякой вопленицы. На Выгозере я знал несколько воплениц, и все они были вдовицы, горюши, горе горькое, как и Максимовна. Раз только меня удивила своим веселым, жизнерадостным видом здоровенная и хитренькая плакальщица бабушка Устинья. Чтобы вызвать в ней профессиональное соревнование, я принялся ей хвалить Максимовну.

– Так уж, верно, она тебе мужнин воп сказывала? – осведомилась она. – Ну, по мужу-то легко брюхо валить. Она повопела бы по детям да по родителям.

И веселая бабушка Устинья стала серьезной. Оказалось, что двадцать лет тому назад у нее умер любимый сын, и она по нем восемь лет вопела. Всякую причеть она передавала мне просто и довольно равнодушно: и по мужу, и по родителям, и по хорошей свекрови, и по плохой, но когда стала вопеть по сыну, расплакалась.

После, при встрече с Степанидой Максимовной, я передал ей разговор с Устиньей. Но бесконечно добрая, независтливая вопленица горячо поддержала Устинью.

– Всякие жены есть, – сказала она, – хоть по мужу-то и порáто повопишь, а по деточкам по желанию.

«Родна матушка плачет до гробовой доски, до могилушки.
А молодá жена до новá мужа.
А родимая сестра плачет, как роса на траве».

Ловцы

Рыбу ловят в Выговском краю все, и почти всякое селение расположено там возле озера или речки. Но настоящие ловцы – это выгозеры. Рыбная ловля – их главное, основное занятие. Карельский остров в этом отношении самое типичное место. Беднота тут страшная. Вид угнетающий. На этом острове даже леса нет, – только вода да камень; у каменистого берега виднеется десятка два лодок, сушатся сети на козлах, и между ними копошится человек в лохмотьях; прибавить сюда группу почерневших от дождя и ветра изб, изгородей, кучку елей, скрывающих часовню, – вот и вся картина. Невольно приходит в голову: неужели и тут имущественное неравенство, зависть, злоба, самолюбие... Для уяснения себе этого местные люди рекомендуют... пересчитать бани. Если бань немного, значит живут ладно, если много, то плохо: друг к другу не ходят в баню. Замечают также, что чем селение меньше, тем и бань больше; там, где живут двое или трое, то уж непременно у каждого своя баня.

В этом суровом климате люди любят одиночество, любят расселяться поодиночке, высивая новые и лучшие места. Выселится куда-нибудь к лесному озерку и живет себе с своим семейством среди Божьего простора леса, воды и камня, в неустанном труде. Впрочем, связь с деревней не разрывается; там его родственники и вообще все ближние. Он даже и не считает, что отделился от деревни; его починок называется тем же самым именем. Он устроился, обжился. Мало-помалу возле его дома появился другой, третий, возникла деревенька с тем же названием. Вот, например, деревня Кайбасово на Выгозере, подалее от него есть еще Кайбасово, а если поискать в лесу хорошенько, то, наверно, найдется еще Кайбасово: это уже будет починок, один дом. Так расселяются на Севере, и потому так часто встречаются деревни в два-три дома. Однако между всеми этими деревнями на Выгозере крепкая связь. Поселившись на Карельском острове, я чувствовал себя, будто живу в одной деревне, раскинувшейся на громадном пространстве между Повенцом и Поморьем. Не говоря уже о том, что из разговоров можно узнать на Карельском острове всю подноготную, к празднику в Петров день тут собирались и из Телекиной, и из Данилова, и даже из «залесной заглушной сторонушки» Пулозера и Хижозера. Северяне выработали себе мудрое правило: в будни подалее от людей, в праздник поближе к ним. И, конечно, те люди, которые живут в одиночку, сильнее других, собранных в поселки: в одиночку нельзя прожить без труда, а в деревне между людьми всегда можно как-нибудь перебиваться с хлеба на квас.

И на Карельском острове есть и богатые, и бедные люди; об этом можно заключить уже по внешнему виду изб. Вот большая, прекрасная изба, а рядом с ней – жалкая, похожая на кучу дров, избушка с полуразрушенной крышей. Общего между этими избами только их бросающаяся в глаза оригинальная северная архитектура. Под одной кровлей здесь укрыты и жилище человека, и все хозяйственные дворы. Но прежде всего бросается в глаза, что даже самая маленькая изба построена в два яруса, причем в нижнем ярусе не живут, а он служит только для тепла, для хранения хозяйственных вещей. Останавливает внимание также мостовой деревянный въезд (в телегах) на верхний ярус, к той части, где помещается верхний деревянный двор. Тут, на этом дворе, хранятся хлеб, сено, солома, а внизу помещается скот.

Но богатые люди здесь отделяются от бедных не каменной стеной, как в городах. Богатство заключается главным образом в хорошей, правильно организованной семье; потом – лишняя лошадь, корова, лодка и сеть. Вот и все различие в имуществе. Из тридцати дворов Карельского острова в трех дворах по две коровы, в пяти – совсем нет, в остальных – по одной. У шестнадцати хозяев совсем нет лошадей. Во всей деревне только тринадцать неводов, которыми пользуются по два двора. Без коровы еще можно жить, можно жить и без лошади, но когда нет лодки, то остается только идти «по проклятому казачеству», то есть наняться в работники к тем, кто нуждается в рабочих руках. Впрочем, казачество называется «проклятым»

только ввиду идеала правильной и счастливой семейной жизни, а не потому, что бедняк зол на богатого. Богатство все на виду в деревне, и бедняк жалуется только на свою судьбу; эти бедняки – большей частью маломожные вдовы-горюши, которые не в состоянии иметь лодок для осеннего лова, которым не хватает мужских рук.

Но если богатство все на виду, если оно создается трудом и чрезмерно разбогатеть невозможно, то почему же вот Тимошка Тиконский сильно разбогател и как-то сразу? Раньше был бурлаком, нанимался в казаки – и вдруг пошло и пошло... Выстроил дом тысячный, в клетки четыре коровы, две лошади.

Но Тимошка не в счет. Тимошка – рыбный колдун. Разбогател он от рыбы.

Простой человек от рыбы не разбогатеет. Теперь рыбы стало «на умали» попадать, и как ни бейся, а больше положенного не поймает. А Тимошка так и валит, так и валит. Даже вот в тот год, когда выгозерский хозяин, как говорят старушки, сегозерскому рыбу в карты проиграл и все голодные круглый год сидели, Тимошка и шук насушил, и сигов насолил, и ряпушки немало свез в Шуньгу на ярмарку. Тимошка колдун, он знает рыбный отпуск (заговор) и за хорошие деньги может, пожалуй, и научить. Но где же денег найдешь для Тимошки? Уж лучше попросту, по-старинному зашить в матицу летучую мышь; бывает, и это помогает. Рассказывают, будто Тимошка сошелся с водяным так. Раз, глухой ночью, он вытянул невод на остров. Глядит, а в матице кто-то сидит... Развел Тимошка огонь на острове, выволок невод. Разложил матицу – и вытащил водяного. Черный да шерстной! Тимошка не испугался, посадил водяника к огню и спрашивает: «Тебя в огонь?» – «Ни... ни...» – мычит водяник. «Так в воду?» – спрашивает опять Тимошка. «Да, да...» – промычал водяник. Тимошка его и пустил. Вот с тех-то пор и повалила к Тимошке рыба. Тимошка колдун, Тимошку в пример брать нельзя. А так, от трудов не разбогатеешь в этих краях. Труд непрерывный, тяжелый, круглый год без отдыха, одинаковый и весной, и осенью, и зимой, и летом.

* * *

Ранней весной молодая, самая сильная часть населения отправляется на сплав лесов, «уходит в бурлаки», как здесь говорят. Впрочем, среди бурлаков попадаются и мальчишки, и старики: «Ходим в бурлаки, – скажут здесь, – с малых лет и до дикой старости».

Бурлачество здесь – словно всеобщая повинность. Население прокликает эти каторжные и опасные работы, но жить без них не может. Вербовка бурлаков начинается приблизительно с Крещенья, в то время, когда крестьянин уже наверное съел не только собранный им хлеб, но и тот, который ему дал местный лавочник под будущий лов рыбы: мережный весенний, осенний неводной и под рябы, то есть под рябчиков, тетеревей и прочую дичь. Вот в это-то время где-нибудь в центральном месте поселяется десятник, который вербует бурлаков, выдавая им вперед задаток. Денег у десятника обыкновенно нет; он сам берет муку в кредит у повенецких лавочников, и потому задаток, даже и весь будущий заработок выдается мукой и другими продуктами. Между Крещеньем и половиной марта лучшая, сильная часть населения успевает уже продать и проесть свою рабочую силу. Лишь немногие могут избежать этой кабалы и наняться весной непосредственно у приказчика, заведывающего сплавом леса. Эти немногие счастливицы называются «одинки».

Лес, сплавом которого заняты бурлаки по рекам и озерам, направляется к Белому морю, к Сорочкой губе. Там он распиливается на доски и отправляется в Англию. Само собой понятно, что для этого выбираются только самые лучшие деревья; но даже и они не сплавляются целиком: от них отрезается ровная часть, а верхушка в две-три сажени бросается в лесу и гниет. Гниет также и пропадает даром весь сухопостойный или поваленный ветром лес. В то время как где-нибудь в черноземной полосе чуть не из-за сучка помещик судится с мужиками, здесь бесчисленное количество леса пропадает даром. Лес до сих пор здесь, как вода и воздух, еще

ничего не стоит. В лесу часто встречается десяток срубленных гниющих деревьев; это срубил охотник, перегоняя белку с дерева на дерево на видное местечко, или земледелец, для того чтобы, собрав хвою, употребить ее на подстилку скоту... Много было проектов, много раз обсуждался вопрос о соединении каналом этой местности с Онежским озером и, следовательно, с Петербургом. Раз даже серьезно приступили к разработке этого вопроса. Но от всех этих начинаний осталось лишь возле деревни Масельги два камня с надписью: «Онежско-Беломорский канал». И никаких естественных преград для канала не оказывалось, а просто частным лицам предприятие было слишком дорого, а государство Севером не занималось. Теперь лес отправляется пока в Англию. Зимой его заготавливают, то есть рубят и свозят к берегам рек и озер. Весной же его поднимает вода, а не захваченный разливом окатывают бурлаки и провозают. На речке лес движется россыпью, а на озерах его собирают в кошель; для этого множество деревьев связывается вересковыми прутьями, так что из них образуется как бы длинный прочный деревянный канат; этим канатом охватывается весь собранный бурлаками лес на озере; вся масса деревьев бывает заключена таким образом как бы в кошель. Такой кошель подвигается вперед посредством головки, как называется плавучий ворот на якорю. Воротом подтягивают кошель, а потом снимают якорь, передвигают веслами головку вперед, снова подтягивают кошель и так далее. Хвост, то есть кошель с головкой, движется по Выгозеру вплоть до Воицких падунов. Здесь кошель разбивается, потому что каждое бревно должно свалиться в падь, претерпеть отдельно свою собственную участь. Бывает, что громадное, семивершковое дерево, свалившись в падь, ульнет там и затем с страшной силой выскакивает из воды; если при этом оно ударяется о скалу, то, случается, разбивается вдребезги или мочалится на четверть, на две. Пролетев через падуны, деревья собираются в Надвоицком озере и затем движутся россыпью по бурной, порожистой реке Выг.

Бурлацкая работа – чуть ли не самая тяжелая из всех существующих работ; вместе с тем она и очень опасная.

Ранней весной, при разливе рек, когда бывают еще и морозы, бурлаки окатывают баграми лес с берегов рек и озер в воду. Целый день они мокнут, бывает даже выкупаются в холодной, только что растаявшей воде. Вечером, часов в десять, собираются кучками в лесу, разводят костры и, тесно прижавшись друг к другу, щелкают зубами до утра. Утром – «черт в зорю не бьет» – часа в четыре нужно уже быть на работе. Когда лес в воде, они его должны провозать. Некоторые идут по берегу и баграми отталкивают готовые застрять между камнями деревья, а некоторые стоят на бревнах, плывущих по реке, и, перескакивая с дерева на дерево, цепляясь баграми за деревья, стараются всей плывущей массе леса придать удобную для прохода в узких местах форму или просто не дать отдельным деревьям загородить путь. В очень неудобных местах, на загубках, устраиваются отводы из двойного ряда связанных между собою деревьев. Плывущие деревья, ударяясь об отвод, не могут попасть в загубок и там задержаться. Но в больших порогах, несмотря на все эти меры, почти всегда застрянет где-нибудь дерево, за ним другое, третье, больше и больше, пока, наконец, нагромоздится целая гора леса и остановит все движение. Вот тут-то, когда заломит, и бывают самые опасные работы, требующие отчаянной храбрости. Вся эта остановившаяся масса деревьев, коса, часто держится на одном-двух деревьях. И вот смельчаки, получающие не в пример прочим жалованья до семи рублей в неделю, берутся разобрать косу. Смельчак становится на одно плывущее бревно и, сохраняя равновесие посредством багра, цепляясь им то за камни, то за другие плывущие деревья, подъезжает к месту залама. Здесь он выбирает те именно деревья, которые, по его мнению, задерживают движение остальных, привязывает к ним веревку и спешит уехать к берегу. Но случается, что, в то время как он выскивает заломившиеся деревья, коса вдруг трогается. Тогда бурлак на своем бревне мчится впереди косы к порогу, стараясь лишь не задержаться, не дать нагнать

себя массе деревьев. Миновав порог, не раз окунувшись в клокочущей воде и постоянно снова вскакивая на бревно, он выезжает на плёсу⁷ и там спасается.

Один бурлак мне рассказывал, как он попал раз в кипун при разборе косы; он говорил, что его там вертело ногами через голову минут пятнадцать; он потерял уже сознание, но товарищи его спасли.

Продрогшие, промокшие, часто в лихорадке, бурлаки в конце концов добираются до лесопильного завода в Соробе. Там уже своя поморская, свободная жизнь.

Тут бурлаки отводят себе душу такой жизнью, которая ничего не имеет общего с патриархальным выговским бытом.

* * *

В то время как бурлаки работают на сплаве лесов, другие обитатели Карельского острова готовятся к мережному лову. Пока лед еще не разошелся, мережи нужно пересмотреть и починить. Мережи – это те же самые верши, но только они сделаны не из прутьев, а из сетки, натянутой на деревянные обручи. Весенний лов происходит у болотистого берега, и потому перед мережным ловом все болото делится на равные части. Как только сбежит снег, посинеет лед на озере и станет отставать от берега, тут-то и ставят мережи у болотистого берега одну возле другой, стенкой. В это время щука нерестует, стремится к берегу, чтобы оставить там икру. Но на пути она встречает мережу и с удовольствием входит в ее язык, потому что в узком проходе ей удобно освободиться от икры; рыбе так хочется избавиться от нее, что она не боится и даже очень узкого прохода, лишь бы можно было пройти.

Весеннее солнце сильно пригревает воду. На солнопеке рыба быстро наполняет всю мережу и даже может разорвать ее, если вовремя не осмотреть. Вот почему ловцы не допускают, чтобы в мережу набралось более десяти – пятнадцати штук; они спешат «сбавлять мережу», то есть развязать ее носок и выбрать рыбу. Тут иногда попадается громадная щука, и случается, что в спине ее бывают когти и даже лапы скопы. Очевидно, хищная птица, не соразмерив своих сил, впустила когти в громадную рыбу и была увлечена в воду. Вместе с щукой попадаются иногда язь, окунь, плотица, лещ имень (налим). У хорошего хозяина таких мереж штук сто, и в весну он может наловить щук рублей на семьдесят; но у большинства их не больше сорока. Пойманную рыбу тут же и чистят. Садятся старые, матерые люди и жёнки где-нибудь на угреве и пластуют щук. Вычищенную рыбу солят и складывают в кадки. Заедет «богач», как здесь называют всякого торговца, и скупит всю эту вешнюю рыбу, а если не заедет, то ее высушат на солнце и продадут после. Олончанин – большой любитель этой сушеной рыбы.

Весна вступает в свои права. Время бы и выгонять скотину в поле, но куда же выгонять ее на Карельском острове, где только камень да болота? Очевидно, ее нужно перевезти на другие острова, с более плодородной землей. Такой хороший остров, верст в десять длины, находится всего в двух верстах от Карельского острова. И вот, в то время как в обыкновенных условиях выгоняют скотину в поле, на Выгозере плывут лодки с коровами, лошадьми, овцами. В каждую лодку может поместиться только одна скотина, да и то необходимо особое приспособление, козел, бревно с переладиной в виде буквы Т, чтобы лодка не опрокинулась. Козел кладется переладиной в воду, а другая часть его опирается на борт лодки.

Обитатели Карельского острова – народ бедный; они не в состоянии даже иметь для стада пастуха, а может быть, и просто непривычны к этому. Скотину пускают одну на Божий простор, на Божье произволение. Бродит скотина в лесу, как дикие животные, и только звон колоколов, такой странный в молчаливом северном лесу, говорит о связи этих животных с людьми. Впрочем, ни коровы, ни лошади за лето не отвыкают от людей, а овцы даже скучают и, когда

⁷ Плеса – спокойное место после порога.

увидят проезжающую лодку на озере, собираются на берег кучкой у самой воды и жалобно блеют. Только телята к осени становятся совсем дикими и доставляют много хлопот хозяевам осенью. Их загоняют в топкое болото и там ловят; если нет близко болота, устраивают загон.

Когда скотина перевезена на остров, то женщинам приходится каждый день ездить туда доить коров. Рано утром они садятся в лодки, почти всегда с ребяташками, и уезжают. Пристают к берегу. Тучи комаров, мошек и оводов носятся в лесу. Спасаясь от них, скотина вся, до головы, входит в воду и там ожидает подъезжающих женщин. Коров выгоняют на берег, разводят костер и ставят животных выменем к дыму. Кроме того, по обеим сторонам становятся дети с ветками и отгоняют комаров. Происходит доение. Подоив коров, женщины непременно прислушаются, не слышать ли колоколов, не случилось ли чего с лошадьми. Если колокольчики не звенят, то они пойдут непременно в лес искать лошадей. Мало ли что может с ними случиться!

В это время мальчики едут на лодке удить рыбу для ухи. У знакомой луды почти всегда играют парвы (стайки) окуней. Мальчики спускают в воду заранее приготовленный камень на веревке, «якорь», и ждут, пока лодка «обставится», затем наживляют червяка и спускают крючки на лесках в воду без поплавков, без удилищ. Все это здесь лишнее; окуней очень много, и без поплавок слышно, как «тыркает» рыбка. Шшш... – зашумит стайка окуней у луды и «затыркает». Теперь успевай только выхватывать да насаживать червя, овод или даже окуневый глаз на крючок. Мальчики поглощены работой, не замечают, как красиво глядятся угрюмые острова в спокойное озеро, как выскакивает из воды и сверкает на солнце серебристая семга.

Но вот подул ветерок, рыба ушла в глубину, коровы выдоены, лошади найдены. Едут домой, но по дороге непременно нужно осмотреть сиговые сети. Издали можно узнать, где поставлены эти сети. Там торчат темные кольшки из воды, выются чайки, хохочут гагары. Эти птицы часто «обижают» ловцов, ныряют в воду и клюют запутавшуюся в тонкой и редкой сиговой сети рыбу. Бывает так, что гагара и сама платится за свое хищничество жизнью, запутывается в сети. Она годится ловцам: у нее шкура шадровитая, прочная, из нее, если снять шкуру и обделать, выйдут прекрасные теплые туфли.

Одна женщина гробет, и лодка двигается вдоль сети, другая быстро собирает сеть в лодку, время от времени вынимая запутавшегося сига, окуня, плотичку и выбрасывая расклеванную или уснувшую рыбу. Сетку так и оставляют в лодке: ее нужно высушить дома, повесив на ветерок на козлах у берега. Если же ее не просушить, то она заклевет, покроется слизью, и рыба не будет в нее попадать.

Иногда вместе с женщинами на лодке приезжает домой и конь. Это бывает в том случае, если перед поездкой они заметят, что пар затравел, что его нужно вспахать. Дома пашут, солят рыбу, продергивают заросшую репу. Так проходит время до полдня. К этому времени старуха изготавливает кашу, рыбники и уху. Едят больше окушков или ряпушку; сигов есть нельзя, они стоят дорого, шесть копеек фунт, и годятся «для богача». Поедят, отдохнут – и снова за работу. Рабочий день велик, он состоит из трех упряжек: утренней – до восьми часов, средней – до полдня и вечерней – до заката солнца, когда садятся паужинать. Вот так и живут и трудятся от «выти до выти» (от еды до еды).

С закатом солнца на Севере почти не происходит никаких перемен, по-прежнему светло. И, вероятно, это отсутствие границ между днем и ночью раздражает даже и помирившегося, привычного к этому северного человека; ложатся не сразу, а старик долго, иногда часов до двенадцати возится у сети или у дров. Наконец и он вспоминает, что надо же спать, и ложится рядом со всеми на лосине (лосевой шкуре) на полу.

Душно в такую ночь: раскинулась мать, беспокоятся ребяташки, кто уткнулся у груди, кто у ног, кто и вовсе сполз с лосины. А на улице светло, прозрачно, тихо, кричат на болоте утки... Старик последний лег и первый встает. Встает и старуха, топит печь, качает зыбку. За ними встают все и по очереди подходят к медному чайнику-умывальнику, подвешенному на

веревочке над кадкой. От этой кадки исходит тяжелый, удушливый запах, там варится уха для стельной коровы, которую опасно было везти на остров. Еще вчера старуха, когда чистила рыбу, набросала в кадку рыбные отбросы, а утром подлила воды, помоев и опустила туда горячий камень.

Мало-помалу время движется к лету, и работа следующих дней не походит на вчерашнюю. Подходит листобросница – пора, совершенно незнакомая хозяевам средней и южной России. Женщины едут на лодках на тот же Янь-остров, находят березовые лядинки и, пригибая нижние ветки, обрывают лист и складывают в лодки. К вечеру домой плывут уже не лодки, а копны, на верху которых важно сидят ребятишки. Лист складывается на верхнем дворе, над скотным двором, для просушки. С этих пор хозяева обыкновенно спят здесь на мягком листе. Березовый лист предназначается для зимнего корма скота. Если его пересыпать мукой, то неприхотливые мелкие северные коровенки мирятся с этим кормом.

После листобросницы начинается тяжкое время: сенокос. Тут уже не обойтись без бурлаков: жёнки не сумеют выточить косу, не могут сложить и зарода. Они с нетерпением, с волнением дожидаются мужей, боятся, как бы не запоздать с сенокосом... Наконец приезжают истомленные, измученные бурлаки. Им нужно отдохнуть, кстати выточить косы, починить кошели, вычистить ружья, которые пригодятся на лугах.

* * *

Сенокос на Севере – совсем не то, что в южных, счастливых местах. Луга такие жалкие, что сначала не веришь глазам: неужели эта низенькая трава, не более четверти аршина высотой, стоит трудов? Но оказывается, что как раз эта-то жалкая трава и есть самая хорошая «земная трава». Она состоит не из кислых осок, а из сладких злаков, которые охотно ест скот. Но бывает, что в «водливые годы», то есть когда сильно разливается озеро, и этой травы не бывает, родится одна кортяха, то есть хвощ. Эту кортяху скот уже ни в каком случае без муки есть не станет, а мука – продукт дорогой, большею частью привозной. По подсчету местной земской управы, население Повенецкого уезда употребляет треть всей имеющейся в его распоряжении муки на корм скоту. Отсюда можно себе представить, какова эта трава, к которой нужно прибавлять столько муки, чтобы сделать ее съедобной! «Водливые годы», которые так ухудшают пожни, происходят от переполнения Выгозера, которое не успевает переливаться через падуны в реку Выг. Вот почему местные люди убеждены, что если бы можно было взорвать щелья на падуне и понизить уровень озера, то и берега бы пообсохли, и выросла бы трава хорошая, «земная». И в самом деле, на немногих сухих местах здесь всюду виднеются красные головки превосходного визильника, то есть клевера.

Эти жалкие пожни находятся иногда очень далеко от деревни. Так, с Карельского острова ездят верст за двадцать и работают там, не возвращаясь домой, целую неделю. В это время в деревнях остаются только старый да малый, а все, кто может работать, переселяются на пожни. Там, на месте сенокоса, устроены маленькие избушки, «фатерки»; в них обыкновенно и спасаются ночью от комаров усталые работники. Комары и мошки – страшные враги косцов; их так много, что не будь у косцов комарников, прикрывающих лицо, было бы невозможно выдержать пытку. «Хоть вопи», – говорят косцы.

Косят все: мужчины и женщины; вернее, не косят, а рубят траву. Косец ударяет горбушей, то есть большим серпом, от правого плеча к левому и сейчас же от левого к правому, все время согнувшись, обвязав голову платком от комаров. Какой изящной и легкой забавой кажется после этого южная косьба, при которой в ритм машут руками. Здесь этот ритм, так облегчающий работу, невозможен: из травы то и дело виднеются камни, то и дело приходится прерывать работу. А тут еще комары и мошки. Какие бесчисленные легионы их носятся в воздухе, можно понять лишь, когда из леса вырвется на полянку тонкий солнечный луч и их осветит.

Косят обыкновенно утром, а когда солнце подсушит росу, то начинают складывать в зароды то сено, которое уже подсохло. Для этого выбирают местечко посуше, вырубают в лесу высокие жерди, стожары, и втыкают их в землю в одну линию, одну возле другой, на расстоянии нескольких шагов. Две женщины приносят сено на жердях, а мужчина накладывает его аккуратно между стожарами высоко вверх. Уложенное так сено составляет первую заколину. Если сено сыро, то с обеих сторон его подпирают, а по мере того как оно высыхает, ниже и ниже опускают подпорки. За первой заколиной набивается вторая, третья и так далее, на сколько хватит сена. Своего сена достается всего лишь по три воза, а за сено в казенном лесу приходится платить по пятьдесят копеек с воза. В таких зародах сено остается здесь и на зиму.

Утомленные косцы устраиваются под вечер на ночлег. Чтобы избавиться от комаров, в избушке покурят пакулой (гнилушкой), а те, кто спит на сене, устраивают полога из паруса. Но избавиться от комаров невозможно. Вертится на сене косец, жметя, кряхтит и слышит, как лает в лесу собачка. «Откуда эта собака в лесу?» – думает он. И вдруг вспоминает: когда они шли на работу, то он оставил на камне две калитки (лепешки), а потом, когда вернулись, калиток уже не было. «Куда же это они делись?» – думает он, то и дело просыпаясь от комаров. А собачка все тявкает и тявкает. Утром он забудет и собачку, и калитки, но когда-нибудь вспомнит и на досуге, во время «беседы» скажет:

– А меня Бог миловал... Да вот только раз это... Оставил я на пожнях на камне у фатерки две калитки. Пришел, – нету калиток.

– А может, кто взял их, да и съел?

– Да кому же в лесу калитки взять?

И все помолчат, согласятся. А он продолжит:

– И собачку евонную слышал: тяв-тяв, смешная такая.

– Так, может, это кто-нибудь с собакой шел? – усумнился недоверчивый слушатель.

– Да кому же в лесу с собачкой идти?

И в самом деле, кто же заберется в такую глушь? – разве какой «сбеглый».

Выкосили «земное» сено. Теперь можно приняться за болотное. Болота находятся у самого острова, и потому можно переселиться домой. Раньше болото не делили, но теперь такая нужда стала, что и болота разделили. И это – на Севере, где на каждого отдельного человека приходится, вероятно, много сотен десятин леса и болот!

Начали рубить горбушами болотную траву, стоя по колено в воде. Болото колышется под ногами, кругом летят и кричат утки, пищат утенята, выются чайки, гагары, а женщины с подтянутыми юбками, в высоких сапогах целый день стоят в воде и рубят траву. Зрелище удивительное для не северянина. Но следующие за сенокосом работы уже не представляют ничего особенного. Рожь и жито косятся теми же горбушами и сушатся на особых «хлебных зародах», то есть высоких, в несколько сажений, лестницах. Хлеб возят с полей на Карельском острове в санях, потому что иметь исключительно для этого телегу – не стоит. Высушенный хлеб молотят привузами (цепами) в ригачах (ригах).

* * *

Для обитателя Карельского острова необыкновенно важно вовремя убрать хлеб. Это важно и потому, чтобы морозы не захватили его в поле, но главное же потому, чтобы уборка хлеба не задержала осеннего лова рыбы. Для ловцов это время самое серьезное, самое важное. Настоящий лов рыбы бывает только осенью, и если хлеб вовремя не созрел, то лучше уж нанять работницу, «казачку».

Осенний невод велик и дорог. Только очень большому семейству под силу иметь его. На Карельском острове всего одно семейство самостоятельно справляется с неводом, все же другие складываются по два двора на каждый невод. Выгозерский осенний невод имеет в каждом

крыле по семьдесят – восемьдесят сажений, при этом к нему еще нужно сажений полтора саженей веревки. Самая важная часть в неводе – матица, куда собирается пойманная рыба. От матицы крыло начинается котколуксой сажений в пять, потом следует ринда, также сажений в пять, за ней частые сети и плутивные, те и другие вдвое длиннее ринды.

Лов начинается с пятнадцатого августа и продолжается до первого октября. Перед ловом берег Карельского острова делится на равные части, по числу неводов. Возле такой части берега одним неводом можно ловить только в течение дня, следующий день на этом месте ловят другие, а первые ловят на другом месте, следующем по порядку, и т. д.

Для осеннего лова необходимо иметь две лодки. Сначала, заехав в озеро, спускают матицу и сейчас же разъезжаются в стороны: одна лодка тянет правое крыло, другая – левое. Когда распустят все сети, то поворачивают к берегу и тянут тую сажений на полтора саженей. Лодки, которые на озере плывут на некотором расстоянии друг от друга, у самого берега съезжаются в одно место. Веревки тянут шпилями, то есть воротами, установленными на каждой лодке. Сначала на воде виднеются только кибаксы, то есть поплавки, а потом показываются и крылья; как только они покажутся, ловцы бросают шпиль и тянут руками, взявшись по двое за крыло. Когда показываются частые сети, кто-нибудь берет торболо, то есть жердь с деревянным кружком на концах, и начинает им буткать воду, чтобы рыба бежала в матицу. Под конец развязывают матицу и рыбу вытрясают в лодку.

Осенью ловятся главным образом сиг и ряпушка. Вся эта пойманная рыба обыкновенно тут же и скупается «богачами», но те, кто в состоянии, берегут ее до Крещенья и везут на знаменитую ярмарку в Шуньге на озере Онего. До самого последнего времени эта ярмарка играла такую же роль в Олонецкой губернии и Поморье, как Нижегородская ярмарка на востоке Европейской России. Охотники и рыболовы привозят сюда шкуры и рыбу, запасаются мукою, покупают себе кожу, гужи, растительное масло, пеньку, лен, мелочи и обнови для семейства. «Богачи», или «обдиралы», перепродают свой товар оптовым торговцам, а эти – торговцам Петербурга и других городов. Словом, Шуньга и до сих пор играет огромную роль в торговле Севера. В народных песнях и сказках Шуньга постоянно упоминается.

Однако на Выгозере только очень состоятельные могут возить рыбу в Шуньгу, большинство же продает на месте.

В то время как происходит осенний лов, некоторые идут в лес на охоту, стрелять рябчиков, тетеревей и мошников. Но на Карельском острове плохие полесники (охотники) и предпочитают, когда озеро замерзнет, ловить рыбу по льду.

Для этого прежде всего выпешивается, то есть прорубается пешней – орудием, похожим на лом, – большой ердан (прорубь), в него опускается невод. Направо и налево от ердана, по направлению тони, выпешивают отверстия, сажений на десять друг от друга. С помощью этих отверстий, длинной жерди и вборта невод и тянут к берегу, где тоже готовят большой ердан.

Так ловят до декабря. С этого времени и до весны, до бурлацкой работы, производится вывозка леса к местам сплава. Лес, определенный для рубки и вывозки, иногда находится очень далеко. И вот местному труженику снова приходится покинуть свою семью. Редко кто, разве самый бедный, возьмет с собою жену. Мало может оказать пользы жёнка на этой трудной, чисто мужской работе; побарахтается-побарахтается в снегу, а тут еще муж с досады толкнет... Лучше от греха не брать с собой, лучше пусть они продолжают ловить по льду рыбу.

Мужчины же рубят, шкурят и возят лес всю зиму. Живут они в таких же точно лесных избушках, «фатерках», в которых живут полесники, косцы, скрытники, пустынные – вообще все, кому временно приходится жить в лесу. Зимой на Севере день короткий: поработали, померзли – и в избушку, отогреться. Потом улягутся рядом и ждут, когда сам собой придет сон. Что делать в избушке в такие длинные вечера? Кажется, помереть бы от скуки. Но тут выручает сказочник Мануйло. При свете лучины он в этой лесной избушке рассказывает всем

этим дремлющим на полу людям про какого-то царя, с которым народ живет так просто, будто бы это и не царь, а лишь счастливый, имеющий власть мужик. Этому царю мужики носят рябчиков, загадывают ему загадки, а царь ловко отгадывает, дает советы...

Все молча слушают сказки про царя, иногда смеются – и засыпают.

А Мануйло все рассказывает и рассказывает, пока не убедится, что все до одного человека спят. Для этого он окликает время от времени:

– Спите, крещеные?

И если хоть один откликнется, он поправит лучину и продолжает свою сказку про мужицкого царя...

Весной снова одни уходят в бурлаки, другие берутся за мережи, за соху. И так – круглый год беспрерывно трудится северянин, добывая себе пропитание в борьбе с суровой природой.

Певец былин

Старики всегда говорят: «В наше время люди были лучше и крепче, в старину жилось хорошо». Молодому не убедить стариков, они упрямы. Но если бы даже и удалось убедить и замолчать отцов, то заговорили бы деды, прадеды, заговорили бы давно вымершие народы и седые века. Золотой век был и был...

Когда-то в русской земле жили, «славные, могучие богатыри». Правда это или нет, но только старинный русский народ на Севере поет о них старины, верит, что они были, и передает свою веру из поколения в поколение.

Эти стихи о былых временах такие длинные, так не похожи на современные, что усвоить их может только здоровая память неграмотного человека, не загроможденная часто ненужными, лишними, случайными фактами современной жизни. А значит, и сказители былин должны обладать чем-то таким, что приближает и их самих к прекрасным былинным временам золотою века.

Стало быть, эта поэзия связана с каким-то строем жизни, в котором она обязывает певца, под угрозой исчезновения, жить именно так-то. Строгие староверческие традиции, плетение неводов в долгие северные вечера при свете лучины, большая семья – вот среда, в которой вырабатывается певец былин.

Но все это рассуждение книжно и гадательно. Когда я ехал в Выговский край, я решил непременно отыскать такого сказителя и посмотреть на его жизнь по-своему, увериться своими собственными глазами.

Еще далеко не доезжая до Выговского края, мне удалось услышать об этих сказителях как раз то, что совпадало и с моими предположениями.

Присмотревшись на пароходе к одному славному седому деду, когда мы ехали мимо Сенной губы на Онежском озере, я спросил его, нет ли у них сказителей.

– Как же, как же! – отвечал он. – Рябинушка-то у нас, в Гарницах живет. Слышал про нашего Ивана Трофимовича Рябинина? Да уж слышал, господу его знают, ездят к нему. Он за свои старины рублей пятьсот собрал, у государя был, за границу возили. Чудное дело!

– А другие в вашей деревне знают старины? – спросил я.

– Не-е-т, где нам!.. Рябинка – старовер, вино не пьет, не курит. Строго у него это. И от пищи тоже не отступает: что на какой день положено, то и ест, оттого он и памятлив. Он ни в чем от своего не отступает. Вот когда его к государю возили, так что там наставлено было! Столы ломились. И его, Рябинку, с собой сажают, угощают. Он с ними сидит, беседует, а ничего не трогает, ни-ни... Теперь собрал себе денег и живет по-старому, рыбку ловит, детей к песням приучает.

Иван Трофимович Рябинин – сын того самого знаменитого Рябинина, у которого Гильфердинг записывал былины. Судя по рассказам старика, Гильфердинг встретился с ним случайно, где-то у часовни, во время рыбной ловли.

Не знаю, отвлекли ли меня другие наблюдения или сказители теперь уже стали переводиться, но только на Выгозере я долго не мог найти хорошего певца былин. Наконец я встретился с ним, обжился в его доме, долго не подозревая, что это-то именно и есть сказитель.

* * *

Раз ловцы завезли меня на большой остров, где обитал с семейством всего лишь один житель, Григорий Андрианов. Ловцы мне про него говорили: «Хороший старик, не баламутный, староколенный человек, он тебе всякую досюльщину (старину) рассказать может».

Когда мы подъезжали, на берегу острова у большой избы играло в рюхи множество босых, полуодетых, но здоровых ребят.

– Дома ли старый мошник (глухарь)? – спросили ловцы.

– Ловит, – ответили ребяташки.

Вышла старушка, жена Григория, повела меня наверх в чистую горницу и все говорила:

– Гостите, хозяин скоро приедет, гостите...

Старушка, как принято на Севере, сначала напоила меня чаем, потом угостила обедом: сварила уху из сига, поставила на стол простоквашу, тарелочку с морошкой, с сухими красными пряниками; тут был и рыбник из ряпушки, и рыбник из окуней, и пирог из черники, калитки, шанежки, мякушечка хлеба. Старушка то и дело ныряла вниз, за новыми и новыми угощениями.

– Ловит старик, ловит, – говорила она. – Стара стала я, не могу уж с ним ездить. А по прежним временам уж я не усидела бы по такой тишинке, сто сорок сетей, батюшка мой, было... Жила и с одной коровушкой, и с двумя, и с тремя, и с четырьмя, всяко жила. А вот теперь ноги болят.

Только под вечер приехал старик. За кого он меня мог считать? Уж конечно, за барина, имеющего отношение к лесному, межевому или полицейскому делу. Нужды в них человеку на острове, конечно, не было.

Но Григорий, подойдя ко мне, вежливо подал руку, поговорил немного, с достоинством, как хозяин, и ушел спать. Громадного роста, с кудрявыми волосами, с крепкими отчетливыми чертами лица, он походил на апостола Петра.

В лице его как-то не было ничего лишнего, и даже бесчисленные морщинки на лбу, казалось, все имели свое назначение, словно каждая из них была продолжением его правильных, спокойных мозговых извилин.

Ругань и крик разбудили меня рано утром. Я выглянул в окно. По дорожке вдоль озера с громадным колом в руке бежал вчерашний похожий на апостола Петра старик. А впереди него бежал без шапки совершенно такой же старик, только немного помоложе. Первый старик догнал второго и ударил его колом. Тот так и повалился. Ударил еще и еще...

Объяснилось это так. Старший сын Григория, мужик пятидесяти семи лет от роду, был послан в Повенец продать рыбу. Вернулся он выпивши, нагрубил старику, и тот его отколотил.

Водка и табак, безусловно, не допускались в доме старика, чай и кофе пили только с гостями, так что преступление было двойное. Раньше я думал, что воспрещение староверами водки, чаю и табаку имеет лишь религиозное значение. Но тут, беседуя со стариком, я убедился, что эта громадная семья и по своим недостаткам не могла этого допускать. Если бы вся семья ежедневно стала пить чай и справлять праздники с водкой, то это поглотило бы весь мерехный промысел и часть бурлацкого. А если прибавить к этому, что курящий табак вместе с тем как бы и отрицает высшую власть отца, то расправа старика становится будто бы и немного понятной.

– А как же с ними? – говорил мне немного спустя старик. – В суд, что ли, подавать? Так в суде этого разбирать не станут. Какие теперь суды, только деньгам перевод. Раньше так просто бывало: соберутся, повалят, отдерут, вот тебе и суд весь... Ничего, отлежится. Пойдем, с нами побеседуем!

Отчасти по случаю воскресенья, отчасти потому, что гость был в доме, женщины старательно приготавливали все для беседы. Стол покрыли белой скатертью, старуха хлопотала с кофеем, который здесь получается контрабандой из Финляндии и очень пришелся по вкусу, молодуха завертывала в тесто рыбу, приготавливая рыбники. Из сыновей Григория тут был только младший, бойкий парень лет двадцати, любимец старика, блондин, с открытым славянским лицом; старший «отлёживался»; остальные были в бурлаках. Кроме того, тут же на лавке

сидел бородатый глубокомысленный зять, очевидно гость. Разобраться в женщинах и детях не было никакой возможности, – казалось, что их было великое множество.

Стали угощать кофеем, старик пил горячую воду. Началась беседа, немножко натянутая, как бы официальная, о жизни вообще. Говорил один старик, старуха вставляла замечания, а зять подавал глубокомысленно реплики: «Верно, верно». Остальные молчали.

Жизнь, о которой говорил старик, была, конечно, здешняя, выговская. В этой избе, в большой семье на острове происходила такая же драма, как и везде: старое боролось с молодым, новым. Старое пришло сюда, на Выгозеро, с верхнего Выга, из погубленного Даниловского монастыря. Новое – с нижнего Выга, где сосредоточивались бурлацкие работы по сплаву лесов. Поэтому старик осуждал бурлачество и, вместе с ним, новую жизнь.

– В бурлаки, в бурлаки, – говорил он. – А придут к чему?

– Верно, верно, уж так, – вторил зять.

– Да что, господа, оставь поле без огорода, что будет?

– Да, что будет, – вторил зять.

Слушатели прихлебывали кофеи молча, торжественно и долго.

– В наше время, – разливался старик, – жили советно, уж невестка в дверях не застрянет и не скажет: «Хочу, не хочу». А нынешняя молодежь: им слово, а они два.

– Верно, уж такие и есть.

– Да что далеко ходить! – вставила свое словечко старушка. – Годов десяток, не больше, у нас на всем Выгозере только и был самовар у койкинского батюшки, да на Выгозерском погосте другой, да у Семена Федорова третий, да у дьякона... всего девять самоваров было. А теперь у каждого, да еще по два.

– Старики наши, – продолжал хозяин, – гнильтиной кормились да воду пияща, а молодому давай хором, коня да дом.

– Так и нужно, – раздался неожиданно молодой, свежий голос младшего сына хозяина. – Без коня в наших местах и жить невозможно.

– А что, кому поматерее себя, будто поперечить-то и неловко, – поправил старик. – Как же это старики-то кережи (ручные сани) на себе без коней возили?

– Старики только и знали, что свою душу спасали, о других и не думали.

– А об ком же еще и думать, как не о себе?

– Да что и в этом хорошего: уйти в лес да гнилью питаться?

– А пойдико, брат, уйди. Не-ет, не уйдешь. Ведь на Страшном-то судилище господнем ты за себя за одного отвечать будешь, за других там не спросят?

– Ве-ерно, верно, за других не спросят, – вторил зять.

На этот раз мне так и не удалось сойти с официального тона беседы. Она была длинная и утомительная. Потом я убедился, что старик был не совсем искренним, когда советовал сыну уйти в лес. Это был по натуре не пустынный, а крестьянин. Он любил землю, крестьянство, готов был идти на какой угодно каторжный труд, лишь бы не расстаться с землей. «Уйти в лес» – так учили пустытники, в это он верил, искренно всю жизнь собирался уйти, но все-таки не ушел, а устроил большую семью, дом, все хозяйство. В нем жил инстинкт хлебопашца. Однажды он мне рассказал такую, характерную для здешних мест сказочку:

«Старик один спасался, Богу молился в лесу. Вот приходит к нему калика прохожий, господь уж только знает, кто он такой, приходит и говорит:

– Бог помощь, лесовой лежебочина!

– А какой я лежебочина, как я Богу молюсь да тружусь, труды полагаю да потею...

– Да что твои труды! Вот благочестивый крестьянин на поле пашет, так знает, когда господь к обедне зазвонит и когда обедать пора приходит.

Старик и взял себе в разум: что это мне калика прохожий говорил. Пошел на поле, видит – мужик пашет.

– Бог помощь! А обедал ли ты, добрый человек? – спрашивает у пахаря.
– А я, – говорит, – еще не обедал, у господина еще благовеста не было.
Один сел на межу. Другой поехал, поставил лошадь и глаза перекрестил.
– А чего ты, добрый человек, глаза перекрестил? – спросил старец.
– А вот, – говорит, – блавест к обедне, так надо идти Богу молиться и обедать.
Подивился старец... и пошли молиться».

Смысл этой сказочки старик сейчас же пояснил.

– Видно, – сказал он, – крестьянин у господина больше значит, чем старец. Старец-то все молился, да не домолился, а крестьянин все пахал, да в святые попал.

Но если старик не соглашался с требованием «уйти в лес», то бурлачество ему было совершенно непонятно.

– Дома, – говорил он мне, – крепче спишь, да скорее пообедаешь. А бурлаки уйдут, домашникам и есть нечего... Там вольно, – во-первых, заботы нет: хлеб хоть не родись, домашники хоть не живи. Сперва охотой стали отбиваться от земли – деньги давали, а потом и неволей. Вот придут домой голодные, измороженные, а денег не принесут. Деньги еще лонись (прошлый год) черту отдали. Много ли в полях хлеба родится! Бери, откуда знаешь. Вот он и пойдет к десятнику кланяться, продает себя на весну, а потом еще к богачу поклонится: дай муки, дай крупы. Сначала заберет под рыбу, потом под рябы – и дойдет до того, что душу продаст, праздники десятнику продаст.

– Эх, в старину-то было! На земле – как на матери жили. Тогда по двадцать пудов ржи в нивьях сияли. В нивьях не родится, на полях родится. Семейства душ по двадцать были, хорошо жили!

* * *

И какова же эта мать-земля, о которой так любовно говорил старик? С каким презрением отвернулся бы от нее наш крестьянин земледельческой полосы! Не мать, – сказал бы он, – эта земля, а мачеха.

Особенно поразила меня пашня на Карельском острове. Весь этот небольшой остров разделяется на две половины: одна низменная, топкое болото, другая повыше – сельга, сплошной каменный слой.

– Да как же вы пашете? – невольно спросишь, когда увидишь этот слой камней.

– Не пашем, а перешевеливаем камень, – ответят вам.

Такую землю за лето непременно нужно перешевелить раз пять, иначе ничего не родится. При этом бывает еще нужно постоянно стаскивать большие, выпаханые из земли камни в кучи, называемые ровницами. Скоро эти ровницы обрастают травой, и на полях, состоящих из белого слоя мелких камней, резко выделяются зеленые холмики. Это так характерно, что крестьяне часто говорят, например, так: «У меня поле в девять ровниц». Убрать мелкий камень в ровницы нельзя, потому что нагретый днем камень предохраняет посев от зябели, а в засуху препятствует испарению воды. Так, по крайней мере, думают крестьяне. Не успеешь вспахать такую землю, как она снова в этом сыром климате зарастает травой, потому-то и приходится ее так часто пахать.

Но, кажется, это слово «поле» означает несколько не то, что в земледельческом районе. Это поле находится возле самой деревни, очень маленькое, как огород, и обнесено изгородью, «огородой». Казалось бы, место это как раз пригодно для огородов, но здесь их нет: капуста не растет, не растет лук, даже картофель родится плохо, часто гниет. Местные люди не знают яблок, не имеют понятия о пчеле, никогда не слышали соловья, перепела, не собирали клубники, земляники. Почти обо всем этом они уверенно и любовно поют, но в обыденном языке

этих слов не услышишь. Раз я заговорил о пчеле – меня не понимали, а когда я нарисовал, то сказали, что это медовик, то есть шмель.

И в этом краю проходит детство, бывают романы... И романы с чудными песнями, каких уже не знают в центре России!

На таком «поле», да еще при необходимом редком посеве, в суровом климате родится хлеба немного: хорошо, если месяца на два, на три хватит... Вот почему теперь неизбежно нужно продать себя в бурлаки, и продать вперед. Раньше, когда еще не было лесных промыслов в крае и когда разрешалось еще подсечное хозяйство в казенных лесах, хлеба хватало. С одной стороны, стеснение подсечного хозяйства правительством, а с другой – бурлачество, оторвавшее в самое нужное время лучших работников, – вот причины, почему осталась только жалкая постоянная пашня, «поля», а «нивья», то есть земля, разделанная в лесу, заброшены. Крестьянин и рад бы увеличить постоянную пашню, «поля», на которых хлеб получается с меньшим трудом, потому что тут уже не нужно вырубать деревья, жечь их и пахать между пеньями, а только положить навоз да перешевеливать камни сохой. Но вот в навозе-то и дело. Для постоянной пашни нужно много навоза, значит, много нужно иметь скота, а для скота корма; сено же здесь болотное, скот его не ест без муки. И получается общеизвестный сельскохозяйственный круг. Кроме подсеки, в старину этот круг разрывался еще работами для Даниловского общежития. Теперь же на место подсеки и работ для Даниловского общежития стало бурлачество, со всей его новой культурой.

Такова эта мать-земля. А теперь снова к сказителю Григорию Андрианову.

* * *

В глухом лесу, на холмике против лесного озерка, белой ламбины, виднеется желтый кружок ржи, обнесенный частой косой изгородью. Вокруг этого островка стоят стены леса, а еще немного подальше начинаются и совсем топкие, непроходимые места. Этот культурный остров весь сделан Григорием Андриановым, и сделан не из расчета хозяйственного. Какой тут расчет, когда таким трудом он мог бы больше наловить рыбы или наплести сетей! Хорошо было работать так раньше, когда эти островки расчищало целое семейство душ в двадцать. А одному старику это непосильный, невыгодный труд. Нет, в этом лесу скрыты более высокие запросы Григория Андрианова, чем простой хозяйственный расчет. Нет, тут поэзия прошлого, когда все громадными семействами секли лес, когда духовно более сильные люди еще не продавали себя за грош в бурлаки, не курили табаку, не пили чаю и вина. Островок этот – памятник прошлому, золотому веку, священнодействие души старика Григория Андрианова.

Еще осенью, два года тому назад, старик заметил это местечко, когда полесовал. Он осмотрел внимательно лес – не тонок ли он или не очень ли толст: очень тонкий не даст хлеба, очень толстый трудно сечь. О почве он уже заранее, по виду леса, составил себе суждение, теперь ему остается только проверить. Если лес березовый, ольховый, вообще лиственный, то под ним растут трава, цветы, почва ими удобряется. Если же это сосновый или еловый лес, то под ним ничего не растет, почва остается тощей. Он знает, что береза растет на крепкой земле, а ель – на слабой. Тем не менее он вынул из-за пояса топор и обухом разбил землю, осмотрел корни: они оказались сухими. Это хорошо, потому что «на сыром корне не бывает рождения». Слой почвы в четверть, значит, можно собрать четыре хороших урожая: каждый вершок почвы, по его мнению, дает один урожай. Окончив осмотр, он заметил местечко. Весной же, когда сошел снег и лист на березе стал в копейку, то есть в конце мая или в начале июня, он снова взял топор и пошел «суки рубить», то есть сечь лес. Рубил день, другой, третий. Хорошо, что близко коровы паслись и бабы принесли ему свежие рыбки, калитки и молоко, а то бы пришлось довольствоваться захваченной с собой сухой пищей и тут же ночевать в лесу у

костра или в тесной избушке. Наконец работа кончена. Срубленный лес должен сохнуть. Мало-помалу листья на срубленных деревьях желтели, и среди леса появился желтый островок.

На другой год в то же время, выбрав не очень ветреный, ясный день, старик пришел жечь просохшую слежавшуюся массу. Он подложил под край ее жердь, чтобы она загорелась, и поджег с подветренной стороны. По мере того как место под жердью сгорало, он подвигал ее дальше, чтобы под деревьями был воздух и они горели. Среди дыма, застилающего глаза, искр и языков пламени он проворно перебегал с места на место, поправлял костер, пока не сгорели все деревья. В лесу на холмике, против белой ламбины, желтый островок стал черным – это пал. Ветер может разнести с холмика драгоценную черную золу, и вся работа пропадет даром. Потому-то нужно сейчас же приняться за новую работу. Если камней мало, то можно прямо «орать» особой паловой сохой, с прямыми сошниками без присоха. Если же их много, землю нужно косоровать, разделявать ручным косым крюком, старинной копорюгой. Когда и эта тяжелая работа окончена, то пашня готова, и следующей весной можно сеять ячмень или репу. Такова история этого маленького культурного островка. Узнав эту историю, невольно приходит в голову такое предположение: не принесли ли эту любовь к земле еще далекие предки старика, когда они переселились сюда из более хлебородных мест?

* * *

Так вот эта-то связь с землей и мешала старику «уйти в лес», спасти свою душу. Но теперь еще новое сомнение росло в душе старика: младший, его любимый сын, «парной, саблеватый» и грамотный малый, побывал в Поморье и заразился там новыми взглядами. С этими взглядами было не так легко бороться, как с пьянством и грубостью старшего сына.

А вернувшись на днях с лесопильного завода из Сороки, малый начал и вовсе плести чепуху. Он сказал, что завод лесопильный остановился, все рабочие забастовали и даже подговаривают бурлаков на Выгу и на Сегозере. Старик был возмущен. Вот уже пятьдесят лет выговцы ходят по сплавам, тем только и кормятся. Хотя и ненавистно бурлачество, но им теперь только и кормятся выговцы. Не будь этого единственного заработка на стороне, пришлось бы умирать с голоду. И вот забастовали! К чему же это должно привести? Верить не хотел старик. Но слухи все росли и росли, время от времени на остров заезжали ловцы и каждый раз подтверждали эти слухи. Наконец, по всему краю только и говорили о забастовке. Слово неслыханное, непонятное в этом краю аскетизма, в этом населении, в борьбе с природой прошедшем суровую вековую школу терпения. Ежедневно, при возрастающем волнении в семье, мне приходилось наблюдать, как обострялись отношения старика с молодым сыном. Между женщинами тоже образовались две партии. И Бог знает, чем бы это кончилось, если бы вдруг старик не был разбит таким оборотом дела.

Раз утром молодуха пошла за водой на озеро и сейчас же прибежала назад с криком:

– Едут, едут! Бурлаки едут!

Бабы уже давно дожидались бурлаков, потому что наступил сенокос, а страшное новое слово «забастовка» поселило беспокойство в сердцах молодых жен. Вот почему все, кто был в избе, бросились к берегу, когда услышали, что едут.

Лодка шла на восьми веслах, и только уж близко от берега поставили парус, хотя почти не было ветра. Подкатить на парусе считается на Выгозере особым шиком. Бурлаки, по-видимому, были очень весело настроены, доносились смех и заливиная песня:

Не ржавчинка, ой не ржавчинка все поле съедает...

Радостную весть привезли бурлаки. Все их требования были удовлетворены. К ним приехал сам губернатор, кланялся и обещал все устроить. Тут же послали телеграмму хозяину в Петербург и получили ответ: «Удовлетворить немедленно».

Старик был сбит с толку и, насупившись, молчал, а бурлаки радовались. Первый день ничего не делали, отдыхали. Потом стали приготавливаться к сенокосу: кто точит косу-горбушу, кто кошель чинит, кто ружье чистит, кто готовит дорожки для ужения рыбы, крючки... Все это пригодится на сенокосе. Сенокосные места, пожни, находятся далеко, за двадцать верст, так что целую неделю нельзя возвращаться домой.

Когда вся эта шумная ватага уехала, большая изба опустела, остался один старик со старухой и малыми детьми. Тихо стало на острове и в избе. Слышно только, как скрипит зыбка и уныло звучит монотонная песенка старушки-пестуны:

Баю-баю в добри,
На соломенном кóври,
Бай на лыченьком, на тряпиченьком...

А старик, этот большой матерый дед, целыми днями плетет свою сеть у окна, прицепив ее за крючок в углу. Когда он плетет сеть, он молчит и о чем-то думает. Наверно, вспоминает о своей жизни или перерабатывает по-своему новые, занесенные на этот остров бурлаками взгляды на жизнь.

Раз я попросил его рассказать о себе, как он женился, как вообще устраивался в этой глуши. Старик взволновался и с радостью мне рассказал.

– Веку мне, – сказал он, – восемьдесят семь лет. Родился я на Коросозере. Это хоть и недалеко отсюда, верст двадцать пять лесом, а уж хозяйство другое. Зябель там постоянная, другой раз по семи лет вымерзает хлеб. Как яшень на небе да три звезды, так и зябель. Болота, родники холодные, морянка задует – все к зябели. Да и немудрено: возле океана живем. На Выгозере этого нет: острова, кругом вода, от водицы тепло, водица тепло дёржит. Пала раз весна, северная такая, ждать хлеба нельзя. Надумал родитель-батюшка перебраться сюда: «Куда, – говорит, – ни зайдешь, все солнышко по вершинкам задевать будет». Продали корову, купили лодку, – на острове нельзя без лодки жить. Пришли и начали хозяйствовать. Жили сначала под сосной. Вон она, матушка, стоит...

Старик показал мне рукой в окно на большую развесистую сосну.

– Эх! Уж я это тебе верно говорю: в наших местах без трудов не проживешь. Лес секли, камни выворачивали, сети плели, рыбу ловили, полесовали. А родитель мой батюшка полесник! Я и сам полесник был! Эх, был конь, да заезжан, был молодец, да подёржан. Хвастать не буду, а еще и теперь на пятьдесят сажен в копейку попаду. Вот только мошников уж плохо слышу... Хорошо! Помалешеньку, помалешеньку, да и устроили вот эти хоромы. Запахали поля, засеяли. Лет пять так прожили. Уж мне двадцать пятый год пошел. Поехали мы в Койкинцы на праздник, к Палеостровскому. Прихожу к Захару, смотрю: моя-то княгинюшка рыбу чистит, станушка в перст! Да вот она, княгиня моя, любя тебе? Ну, а мне так гораздо прилюбилась. Прихожу домой, говорю отцу: «Так и так, батюшка, кабы ты съездил». – «Какую?» – говорит. «Да вот тую, – говорю, – Захарову». Смотрю, одел батюшка тулуп, опоясывается. Жду... Да как жду! Верить ли, на крышу раз десять слазил, не видать ли лодки. Гляжу: двое едут. Отец гребет, Захар сидит, правит. Ну, попал молодец! Свадьбу собирать, а денег нет. Всего-то рублей семнадцать и нужно было. Толкнулся я на погост, к Алексею Иванову. Так и так, повинился ему. Дал, век ему спасибо, слова не сказал. Вот так я и женился. А дальше жили в трудах. Я как женился, так и сказал: «Ну, жена, я хоть и худой муж, а против матушки и батюшки ногой не ступи». А она как завопит: «Матушка, благослови!..»

Старик отвернулся, оправился и продолжал.

– Матушка моя, Марья Лукична, хорошая старушка была, краснослова, из Данилова монастыря вышла. Как сказала жена тогда слово, так и не переменяла потом. Варя моя неожурима была. А вот есть молодые, не скажу плохие, а... Эх, Михайло, ум не кошелка, не пере-

ставишь, моего ума держимся. Много горя видели, всего извели, а семь молодцов, как семь яблоков, вырастили. Другой раз придешь, наморишься, станет словно и нехорошо. А отдохну – и опять за работу. Да так вот и живу да болтаюсь, все вперед да вперед...

Про Алексея Ивановича я тебе забыл досказать. Через год я снес ему деньги, поблагодарил и не видал его лет десять. И вот раз перед самым светлым Христовым воскресеньем пала погодушка великая. Озеро надулось, посинело, что мертвец. Смотрю, катит ко мне Алексей Иванов, гость дорогой. А на другой день ехать нельзя было: лед разошелся. Пришлось ему у меня праздник гостить. В Великую пятницу я и говорю княгине своей: «Чем гостя кормить будешь? Мошника бы убить, да боюсь, грех в Великую пятницу». – «Ничего, – говорит, – сходи, попытай счастья». Советно мы с ней жили! Перекрестился я и пошел в лес. А снег уж в лесу повышел, талинки показались. Инде тало, инде суметно. Суметы подморозило, гладкие что бумага. Смотрю, большой сумет навален. Стал я его переходить, и вдруг как схватит меня у поясицы, не могу с места сдвинуться. Ну, ничего, справился, пошел по талинкам, как по скатерти.

И слышу, точится мошник. А уж рассветает, заря разгорелась, бор что гарево стоит! Вижу, далеко мошник противу зари, черный да большой, что бурак⁸. Я к нему по сушинкам, да по лежинкам, да по кокорочкам пя-тю-готь, пи-тю-готь⁹, чтобы сучья не заряцкали. А он посидит, посидит, да и заточится. Замолчит – и я стою, не шелохнусь, как заточится – я опять пя-тю-готь... С одним покончил, другой недалеко заточился... Да так вот в светлое Христово Воскресенье гостя и накормил...

– Вот как мы в старину жили, – закончил старик. – Любо ли тебе?

И чем глубже и глубже погружался старик в прошлые времена, тем они ему становились милее и милее. Отцы, деды, даниловские подвижники, соловецкие мученики, святые старцы, а в самой седой глубине веков жили славные могучие богатыри.

– Какие же это богатыри? – спрашиваю я.

– А вот послушай, я тебе про них старинку спою, – отвечал старик.

И, продевая крючком в петли матицы, запел:

Во стольном городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира...

Трудно передать то настроение, которое охватило и унесло меня куда-то, когда я услышал первый раз былинку в этой обстановке: на берегу острова, против сосны, под которой начинал свою жизнь этот сказитель старик; на минуту словно переносишься в какой-то сказочный мир, где по бесконечной чистой равнине едут эти богатыри, едут и едут спокойно, ровно...

И умный хвастает золотой казной,
А безумный хвастает молодой женой.

Старик на минуту остановился. В этих словах он, глава большого семейства, видит какой-то особый смысл.

– Слышишь ты, безумной-то хвастается молодой женой.

И продолжал:

А один молодец не ест, не пьет, да и не кушает,
И белой лебеди он да и не рушает...

⁸ Бурак – корзина из дранок, новгородская «мостина».

⁹ Пятюготь – значит бесшумно подкрадываться на пятках.

Старик долго пел и все-таки не окончил былинку.

– А что же случилось с Ильей Муромцем? – спросил мальчик, внимательно слушавший, будущий сказитель.

– Илья Муромец окаменел – за то, что хвалился Киевскую пещеру проехать.

– А Добрыня Никитич?

– Добрынюшка скакал под Киевом через камень, скобой зацепился за него: да тут ему и смерть пришла.

– Какой скобой? – спросил я.

– Да разве ты не знаешь, какая у богатырей скоба бывает? Стальная скоба.

Это замечание о стальной скобе было сказано таким тоном, что я невольно спросил:

– Да неужели же и в самом деле богатыри были?

Старик удивился и сейчас же быстро и горячо заговорил:

– Все, что я тебе в этой старине пел, правда истинная до последнего слова.

А потом, подумав немного, добавил:

– Да знаешь что, – они, богатыри-то, может быть, и теперь есть, а только не показываются. Жизнь не такая. Разве теперь можно богатырю показаться!

Вот тут-то я и понял, почему стихи, которые казались такими скучными в гимназии, здесь целиком захватывали внимание. Старик верил в то, что пел.

Полесники

*Там, на неведомых дорожках,
Следы невиданных зверей...*

А.С. Пушкин

Когда-то самым страшным врагом человека был зверь. Это мы все знаем, но думаем обыкновенно, что время это давно миновало. Между тем у нас в России достаточно двух-трех дней, чтобы попасть в такие места, где можно наблюдать эту борьбу человека со зверем. Медведь и волки уничтожают на Севере часто все, что было достигнуто громадным трудом человека, потому что без коровы и лошади немислимо хозяйствовать. В этих местах в складах земских управ продаются не косы и плуги, а ружья и порох. За каждого убитого медведя и волка там выдается премия, причем охотник в виде доказательства представляет в управу хвост и уши, которые потом, как оправдательные документы, представляются на земское собрание.

Вот куда следовало бы ехать нашим охотникам-любителям и помогать населению в борьбе со «звирем». Но охотник-любитель обыкновенно прикован к другим, совершенно противоположным занятиям и не может ехать так далеко. Оттого-то, быть может, он и охотник.

Впрочем, об охотниках-любителях лучше может рассказать мой попутчик полковник-старичок, с которым мне пришлось ехать до Повенца по Онежскому озеру. На пароходе он обратил мое внимание тем, что непрерывно фотографировал, а когда он узнал, что и я фотограф, то тут же сделался моим другом. С ним ехал секретарь, который рассказал мне о страсти полковника следующее:

– Ну, сошлись вы с полковником! Вы знаете, полковник тратит в год до пятисот рублей на фотографию, снимает все и вкривь и вкось, лишь бы снять. И все это остается без всякой пользы, не все он даже проявляет. И знаете... вас удивит: эта страсть происходит от... медведя. Он страстный охотник на медведей и убил в своей жизни их, кажется, сорок три штуки, был даже раз под медведицей. Обратите внимание: у него на брелоке висит зуб этой самой медведицы. Но теперь охота на медведя около Петербурга вздорожала: десять рублей с пуда за берлогу, да охотникам, да проезд, так что медведь ему стал обходиться в пятьсот – семьсот рублей. Наконец при скромных средствах полковника охота стала ему недоступной. Вот тут-то он и взялся за фотографию. Иногда мне кажется, что при каждом спуске затвора фотографического аппарата полковник испытывает маленькую частицу того, что при спуске курка. На днях он сделал такое изобретение: приспособил, видите ли, фотографический аппарат к рогатине. Зачем, вы думаете? Не подумайте, что я сочиняю, – но полковник полагает, что, когда он приготовится стрелять, мужик будет держать наготове рогатину с аппаратом и в тот момент, когда медведь поднимется на задние лапы, дернет за шнурок. Теперь мы едем на Север по делу – осмотр оружия, но я убежден, что полковник замышляет найти дешевые берлоги...

А сам полковник о себе рассказал мне так.

– Знаете, кто мой самый страшный враг?... Газета. Я не боюсь ни пуля, ни медведя, но признаюсь, что газеты боюсь. Это враг страшный, коварный, ползучий. Он умеет пробраться в ваш праздник и в ваши будни, в вашу семью, испортить самое мирное, доброе расположение духа. И как я теперь счастлив, что целых два месяца не буду читать! Я убегаю на Север от газеты... У меня почти с детства была сильная страсть к медведю. Теперь старею, но медведь живет во мне, как в юности; даже крепнет. Вот, посмотрите...

На цепочке полковника висел огромный зуб зверя, немного испорченный на краю...

– Видите, и у них зубы гниют... Но знаете, почему страсть к медведю со временем крепнет? А потому, батюшка мой, что тут дух борется. Как станешь, бывало, за деревом с винтовкой, а он вылетит из берлоги, взроет снег клубом, пыль летит, – страсть, что тут поднимется! Против вас пасть раскрытая, красная, страшная, язык висит, зубы торчат. Встанет на задние лапы, еще секунда – и обнимет вас... Стоишь против него маленький: вот я тут, а вот ты, поборемся... Лютый зверь, страшный зверь... И бла-го-ро-ден! В нем нет коварства ни вот столечко! А какой он нервный! При малейшем шуме он вздрагивает и бежит, он никогда вас не тронет зря. Но если вы решительно ему мешаете, он не смотрит ни на что, он идет прямо, откровенно.

* * *

Все эти разговоры с полковником о медведе живо припомнились мне, когда я попал в эту местность, где люди занимаются охотой не по страсти, а по необходимости. Медведь страшен здесь тем, что «ронит скот», а сам по себе, по отношению к человеку, считается довольно безобидным существом. Тут люди выходят на него иногда с одной пешней, встречаются лицом к лицу в лесу, разговаривают с ним и бранятся. И на самом Выгозере, на островах частенько бывает Михайло Иваныч, но настоящее его местожительство, как и всякого зверя, на восточном берегу, озера, где несколько тронутые вырубкой леса постепенно переходят в первобытные леса Архангельской губернии. Тут всякий зверь: медведь, лось, олень – живут оседло, размножаются. Отсюда медведи и совершают свои набеги на выгозерские стада. Те люди, которые живут возле Выгозера, занимаются отчасти охотой, но называются ловцами, потому что их главное занятие рыболовство. Здесь же хотя все также занимаются рыболовством, но называются полесниками, то есть охотниками. Полесники живут маленькими деревнями в лесах у озер, сообщаются они с остальным миром по едва заметным тропинкам пешком, зимой – на лыжах, и возят маленькие сани кережи с поклажей. Летом часто можно встретить здесь человека, который по моховым болотам несет десятки верст на себе пятипудовый мешок муки. Ближайшие к Выгозеру деревни такого типа – Пулозеро и Хижозеро. Вот в них-то я и решил побывать, чтобы ознакомиться с жизнью настоящих полесников. Замечательно, что даже в этих глухих деревнях, до которых нужно идти пешком верст тридцать, есть маленькие школы грамоты с пятью-шестью учениками. Учителя в таких школах получают по десяти рублей жалованья и тоже занимаются охотой и рыбной ловлей. Я был свидетелем, как один из таких учителей женился на Выгозерском погосте и как потом молодая чета пошла пешком в высоких сапогах по мхам и болотам «на женихов двор».

Провожать меня в Хижозеро вызвался знаменитый полесник Филипп, типичный охотник на зверя. Я заметил, что все полесники разделяются на две группы: те, которые главным образом ходят на мелкую дичь, и те, которые бьют «звиря». Первые полесники часто балагуры, сказочники, вообще легкомысленные и часто художественно восприимчивые люди. Вторые – солидные, иногда угрюмые и молчаливые. Мой провожатый Филипп в обыденной жизни был, вероятно, малоразговорчивый, угрюмый старик. Но у всякого старика в прошлом есть живые струнки, обыкновенно скрытые для молодых. Троньте их, – и старик оживет, он будет вспоминать былое, станет рассказывать живо, как художник, и под конец будет вам глубоко благодарен, что вы пришли и оживили его умирающую душу.

– Эх, этта бывало! – начал мне рассказывать полесник Филипп про свое житье-бытье, когда мы с ним, с кошелюми и ружьями за плечами, рано утром вошли в лес. И рассказывал всю дорогу. А дорога была с непривычки трудная. Сначала как будто бы и видно что-то вроде хорошей тропы, но потом, когда лес остался за нами, то и тропа исчезла; так только примятая трава. А вот словно и совсем исчезла, но полесник идет и не смотрит под ноги. У него превосходный компас – сами деревья: с северной стороны сучья на них растут плохо, и он безошибочно

определит по ним север и юг. Посматривая на деревья, полесник выводит из леса на поляну. Что это? Светло, просторно, будто знакомое с детства широкое поле ржи. На мгновение, после давящей тяжести угрюмого северного лесного пейзажа становится так свободно, легко и тепло. Но это только мимолетные, случайные и не здешние ощущения. И поляна, на которую выводит полесник, вовсе не поле ржи, но еще более глухое, топкое, почти непроходимое место: это моховое болото, моховина. На ней ясно виднеются следы ног, которые погружали и выдерживали из топкого места, видны даже кое-где, на очень топких местах, положенные для перехода деревья. То балансируя на этих деревьях, то по колено увязая в зыбкой моховине, мы переходим наконец это трудное место и вступаем в лес. Моховина тянется иногда на версту, на две, она – самое трудное для перехода место. От моховины до моховины считает полесник свой путь. А если нет моховин далеко, то он может определить время по тени. Тень он измеряет локтями и, став на полянку в лесу, сразу на глаз узнает, сколько в этой тени локтей: пять, шесть, больше или меньше; таким образом он и узнает, сколько времени прошло от «солностава» и сколько осталось до заката.

– Эх, этта бывало, – рассказывал мне Филипп, – и походил я на своем веку по лесу! От лыжной походки и посеячас ноги болят.

* * *

Начал ходить в лес Филипп еще мальчиком, с отцом, сначала лишь «по силовым путикам», или «по силам», собирать запутавшуюся в этих силах дичь. Отец его, хотя был тоже солидный, «самостоятельный» человек и потому предпочитал полесовать на «звиря», но ему, как и всем на свете, не всегда приходилось делать одно лишь любимое дело. Полесникам охота не забава, а дело, которым они живут.

Осенью рано утром, а то и в ночь выйдут, бывало, в лес полесник с своим сынишкой. Они берут с собой только нож, топор и огниво. Ни в коем случае не берут хлеба и вообще съестного. Дома они непременно съедят «по две выти», то есть поедят против обыкновенной еды вдвое. Это делается для того, чтобы в лесу, во время собиранья дичи, не есть. Когда полесники ходят по силам, они избегают есть в лесу.

– Почему так? – спросил я Филиппа.

– Бог знает! Но только так все делают, а Микулаич – наш колдун – говорит: у сила есть станешь, всякая нечисть, и зверь, и мышь, и ворон, будут клевать птицу.

Без колдуна полеснику вообще не прожить. От него он получает множество практических советов. Так, например, колдун никогда не посоветует выходить в лес в праздник. От этого может случиться много недоброго.

– Вот раз мой батюшка, – рассказывает Филипп, – полесовал по путикам в бору. А бор-то све-е-т-лый был! Видит: мужик идет впереди, Василий, с парнем. Батюшка и кричит: «Василий, Василий, дожди меня!» А они идут, будто не слышат, сами с собой советуют и смеются. Он их догонять, а они все впереди. Перекрестился батюшка и вспомнил, что праздник был, Рождество Пресвятой Богородицы. Это ему Бог показал, что в праздник нельзя полесовать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.